ОТ РЕДАКЦИИ «ГОРИЗОНТА»

Оглядывая уходящий год, диву даешься: как много всего он вместил! — ни недели роздыху, ни месяца отпуска.

И все ж в историю 1991-й войдет не калейдоскопом событий, а одним, главным, истинно



Игорь Ганиковский. Двое, 1990

значимым: это был год окончания «великого социального эксперимента», длившегося три четверти века. Эксперимента над народами, над поколениями, над здравым смыслом.

«Эпоха зрелищ кончена, / пришла эпоха хлеба. / Перекур объявлен / для штурмовавших небо»,— писал в свое время Борис Слуцкий. Мы вдосталь накричались, наштурмовались, наразоблачались и на*само*разоблачались. Хватит уже, через край.

Теперь мы стоим у разбитого корыта, и нам предстоит снова учиться жить (да, еще не жить, а только учиться) — по другим меркам и законам, о которых большинство из нас имеет слабое представление.

Достанет ли нам сил, умения, терпения, таланта наконец, чтобы начать все сызнова? Дай Бог, чтобы достало.

За это и стоит выпить стопку талонной водки в новогоднюю ночь.

Цена номера:
по подписке — 50 коп.,
в розницу — 70 коп.

ИНДЕКС 73755 ISSN 0234 – 1824

ГОРИЗОНТ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



Маэль Фейнберг
АМЕРИКА, ГОД 1925-й

Стихи Евгения Рейна
«АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ»

Интервью
с **Александром ЮГОВЫМ**

Вадим Перельмутер
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Игорь Бестужев-Лада
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ

Юрий Власов
ТЕРРОР — ВЕЛИЧИНА АБСОЛЮТНАЯ

Олег Жирнов
ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ВОПРОСА

12
1991

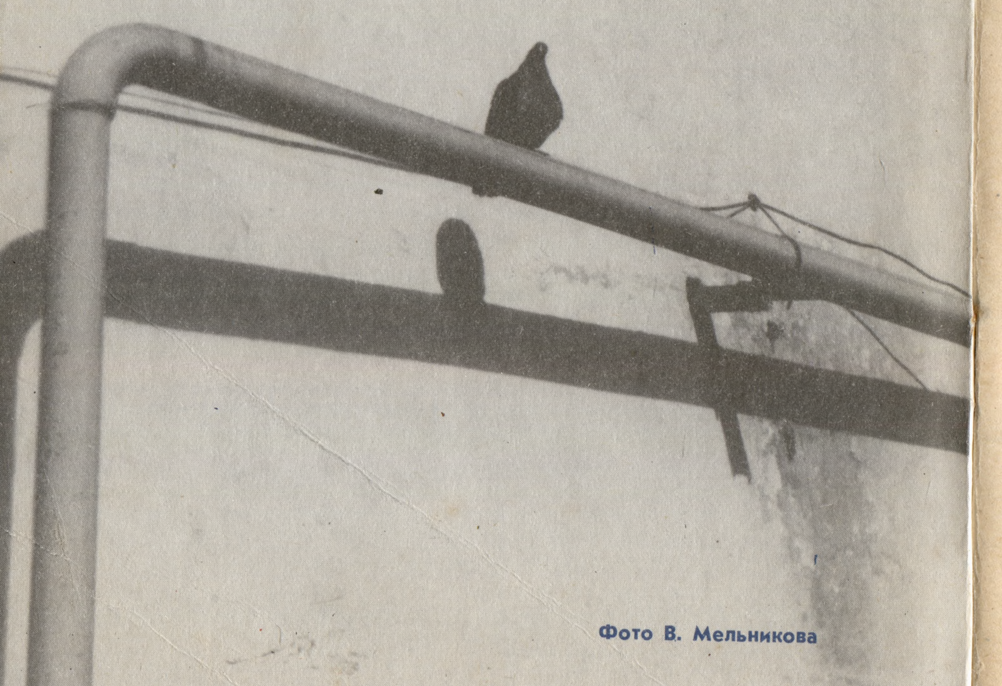
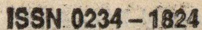


Фото В. Мельникова


ISSN 0234 – 1824

Горизонт

12 · 91
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: 928-97-42.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи не рецензирует и не возвращает.

Сдано в набор 28.10.91. Подписано к печати 29.11.91. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитуры «Литературная» и «Журнально - рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 3,57. Усл. кр.-отт. 5,04. Уч.-изд. л. 6,09. Тираж 60 000 экз. Заказ 2341. Цена номера: по подписке — 50 коп., в розницу — 70 коп.
Малое издательское предприятие «Горизонт». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Тема и вариации

Олег Жирнов. ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ВОПРОСА 2
Вадим Перельмутер. ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ 35

Точка зрения

Игорь Бестужев-Лада. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 7
МЫ ГОВОРИЛИ ВСЛУХ ТО, О ЧЕМ ДРУГИЕ ВТАЙНЕ ДУМАЛИ. Беседа с Александром Юговым 44

Литература и искусство

«МНЕ ЛУЧШЕ ТАМ, ГДЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ...» Беседа с Игорем Ганиковским 16
Евгений Рейн. АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ. Стихи 31

Из пепла

Иван Савин. МОЕМУ ВНУКУ. Предисловие и публикация Евгения Данилова. 18

In memoriam

АМЕРИКА, ГОД 1925-й... Беседа с Маэль Фейнберг 21

Откуда мы

Юрий Власов. ТЕРРОР — ВЕЛИЧИНА АБСОЛЮТНАЯ 26

Страницы истории

Лев Овруцкий, Анатолий Разгон. ЯКОВ БЛЮМКИН. Из жизни террориста. (Окончание). 52

На обложке и вкладках номера: живопись Игоря Ганиковского

Олег Жирнов

ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ВОПРОСА

ВОПРОС ЗАДАН

Год назад «Литературная газета» и «Комсомольская правда» одновременно опубликовали эссе Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». Александр Исаевич изложил в нем свою концепцию положения и будущего развития страны. Эссе говорило, в первую очередь, о политике, о «разумном и справедливом построении государственной жизни». Но оно затрагивало и вопросы национального разграничения, собственности, семьи и права, особенностей национального менталитета. Автор подчеркнул, что его задача была — «только предпослать почву для обсуждений... Непосильно трудно составлять какую-либо стройную разработку вперед: она скорее всего будет содержать больше ошибок, чем достоинств, и с трудом поспевать за реальным ходом вещей. Но и: нельзя вовсе не пытаться.»

ОТВЕТ ИСТЕБЛИШМЕНТА

Реакция советских официальных политических и культурных кругов на статью Солженицына запечатлена в публичных выступлениях их ведущих представителей.

Буквально через несколько дней Президент СССР Михаил Горбачев, выступая на сессии Верховного Совета СССР, откликнулся на эссе Солженицына репликой. В ней, отдав дань тревоге автора за судьбу России, он тем не менее решительно отмежевался от его позиции, назвав ее «неуважительной», а его взгляды — носящими «разрушительный характер». «Ходить по человеческим судьбам, по этой земле с какими-то моделями, ножницами или плугом, пытаться делить и прокладывать межи — это глубочайшее и недопустимое заблуждение,— заявил Президент СССР.— Мне чужды политические взгляды Солженицына. Он весь в прошлом — прошлая Россия, монархия». На этой же сессии народный депутат СССР Борис Олейник резко заявил, что взгляды Солженицына «топчут сапогами мое национальное достоинство», а другой депутат от Украины Юрий Щербак увидел в них «идеи великодержавного шовинизма».

Еще через несколько дней в Кремле состоялась встреча Михаила Горбачева с деятелями советской культуры. Статьи «Как нам обустроить Россию?» Президент на ней не касался. Но известный драматург Михаил Шатров счел необходимым поддержать критическое выступление Президента на Сессии Верховного Совета по поводу статьи Солженицына. «Очень серьезное, важное и необходимое для страны выступление»,— заявил он. Прозвучало также мнение публициста Федора Бурлацкого: «Я не разделяю идеи, связанные с разделением страны на национальные квартиры... Но зачем же нам сейчас воевать против Солженицына, зная его судьбу?»

Статью вспомнили только эти двое, хотя во встрече принимали участие Николай Губенко, Сергей Залыгин, Марк Захаров, Юрий Бондарев, Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Михаил Ульянов и прочие «звезды первой величины» на официальном культурном небосклоне. В их выступлениях о Солженицыне и поднятых им проблемах — ни слова.

Об этом молчали также на состоявшемся вскоре Пленуме ЦК КПСС и на проведенной в конце года еще одной «встрече Президента СССР с деятелями советской культуры». Правда, Михаил Горбачев, совершив в конце февраля — начале марта уже этого года поездку в Белоруссию, привел в одной из речей цитату из Солженицына — в неожиданно позитивном контексте. Трудно понять, однако, преследовало ли это «поминание всуе» имени писателя цель «реабилитировать» его после критики на Верховном Совете, или же — подкрепить собственную политическую линию Президента отсылкой к высокому писательскому авторитету. Во всяком случае, эссе Солженицына Горбачев вообще не упомянул.

Разумеется, в обществе была и иная реакция на статью «Как нам обустроить Россию?». Приведу лишь два примера. Журналисты «Известий», бывших тогда еще официозом, тем не менее демонстративно озаглавили свой парламентский репортаж с достопамятной сессии Верховного Совета фразой «Как нам обустроить страну». Они оговорили в нем свое право иметь на эссе Солженицына взгляды, «отличные от позиции первого лица государства». «Горизонт» (1991, № 4) опубликовал «Обращение к русской нации» Сабетказы Акатаева, в котором Солженицын именно в связи с этим эссе был назван «пророком». «Человек, так долго боровшийся дома и на чужбине ради счастья Родины, вряд ли стал бы советовать веками награбленное сдать без боя, если бы сердцем своим не предчувствовал грядущей катастрофы,— говорилось в этом «Обращении».— Такое чувство дано лишь великим борцам. Он — воистину русский пророк.»

Тем не менее державшейся еще на ногах прежней политической системе удалось предотвратить широкое и гласное обсуждение статьи, на которое рассчитывал, видимо, автор. В лучшем случае официальные представители разных уровней и сфер отделывались экивоками на талантливость и величие писателя, отмахиваясь от высказанных в статье конкретных общественно-политических идей. «Всенародно» и публично тогда обсуждали союзную конституцию, отдельные скороспелые законы... Что угодно — только не то, что неотвратимо надвигалось — и что было заранее предсказано и проанализировано Александром Исаевичем в его эссе.

ОТВЕТ ИСТОРИИ

Наше сегодняшнее положение тоже можно рассматривать как своеобразный ответ на вопросы, поставленные Солженицыным. Только — ответ, данный уже годичным ходом самой истории. Ответ, вытканный бесчисленными за это спрессованное историческое время большими и малыми событиями, приведшими нас туда, где мы сейчас есть. То есть — к полному краху системы, развалу империи, безудержному параду суверенитетов республик и автономий и их взаимным претензиям друг к другу. К кризису и замене бывших 70 лет привычными для нас форм государственной и местной власти. К поиску заново своей национальной и духовной идентичности. К необходимости одеть, наконец, на себя одежды западной демократии — и опасениям, что мы в них не влезем, что они нам не подойдут. К почти физическому ощущению того, что мы дошли до последней черты. И — ощущению того, что старые язвы вновь одолевают нас — казалось бы, уже переродившихся...

С изумлением замечаешь, что все это Солженицын предвидел год назад. Предугадал — хотя не мог знать заранее, какими извилистыми и прихотливыми путями придем мы к этому. Не мог знать, например, что в августе будет путч. Что крайне нескладный, он станет «повивальной бабкой» новой демократии. Что демократия эта, в свою очередь, тоже «наломает дров»...

А итог, тем не менее — вот он, на страницах эссе «Как нам обустроить Россию?», написанного задолго до всего этого. Дальше, по необходимости, пойдут цитаты. Строки, рожденные как будто сегодня. А на деле — год назад. Когда Центр был еще на первом плане, а республики — где-то сзади. Когда компартия еще претендовала на роль «авангарда» общества. Когда прежний порядок еще стоял.

«Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель.» «И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийские республики, три закавказские республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — непременно и бесповоротно будут отделены.» «До каких же пор мы будем снабжать и крепить — неспособные держаться тиранические режимы, насажденные нами в разных концах Земли — этих бездонных расхитчиков нашего достояния? — Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, Северную Корею... А до каких пор и зачем нам выдувать все новые, новые виды наступательного оружия?.. Наконец — необозримое имущество КПСС... Награбили народного добра за 70 лет, попользовались... Но отдайте хоть что осталось.» «Вот, в кипении митингов и нарождающихся партий мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля — тех злоключных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: «Новая февральская революция!»... Но не следует нам опрометчиво сдвигаться в хаос: анархия — это первая гибель, как нас научил 1917 год.»

Цитаты можно множить, но и так ясно: в отличии от конкретных людей, история сказала Солженицыну «да», осуществив многие из его предвидений с завидной точностью — и в короткий срок. А главное — она, как и он, «в лоб» поставила перед нами после распада Империи вопрос из вопросов: «Как нам обустроить Россию?»

ЕЩЕ ОДНА УТОПИЯ?

Осуществилось многое — но не все. Солженицынская работа была не столько диагнозом болезни, сколько рецептом ее лечения. Предвидя так испугавшую Президента СССР год назад неизбежность «делить и прокладывать межи», он предугадал многие направления и линии, по которым треснет Империя. Опять же — многие, но не все. И, соответственно,— по иному, нежели в действительности, у него построились линии стягивающие — направления «собирания» страны.

По существу, наш знаменитый соотечественник предположил, что размежевание пойдет по линии «славяне — неславяне». И упреждая его, предложил славянам самим «сбросить балласт» — если надо — выделиться из страны, сохранив свое единство. Славянам в союзе с живущими на территории России «некоторыми, даже и крупными нациями, как татары, башкиры, удмурты, коми, чуваши, мордва, марийцы, якуты», у которых, по Солженицыну, «почти что и выбора нет».

Именно о так понятой «России» вел речь Александр Исаевич. Именно ее предлагал «обустроить», болея за нее душой. «Русь, как называли издавна (слово «русский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов) или — Россия (название с XVIII века) или, по верному смыслу теперь: Российский Союз» — определил он предмет своего интереса. Призыву к «братьям-славянам» на Украине и в Белоруссии «не отделяться» был посвящен целый раздел его эссе.

Говоря далее о возможном государственном устройстве этой страны, он действительно максимально использовал и практический, и теоретический опыт прошлого. Солженицын предвидел замену советов земствами. Предлагал «добавление совещательной и весьма сведущей Соборной Думы», что «накладывает на все виды властей умственный и нравственный отпечаток». Писал о том, что «в рассвобожденном нашем обществе с годами несомненно разработаются и сплотятся жизнедеятельные сословия — сословия не в кастовом смысле, а — по профессиям и отраслям приложения труда».

Стоит заменить в этой схеме власть Президента на власть монарха — что сам Александр Исаевич, видимо, не исключал, говоря о принципиальном равноправии всех форм государственного устройства — и мы легко узнаем черты воссозданной славянофильской утопии, которая волновала умы русских мыслителей прошлого. Воссозданной, однако, на ограниченном геополитическом пространстве — и без положительной внешней функции «связующего звена» между Западом и Востоком. К Западу Александр Исаевич в своем эссе отнесся настороженно; Восток он вообще игнорировал.

Через год на деле «прокладывать межи» пришлось и между «братьями-славянами». Более того — здесь они, увы, пролегли уже глубже и резче. «Азиатский» Казахстан, который Солженицын предлагал разделить, оказался ныне в политическом плане ближе России и чаще действует с ней заодно, нежели «братская» Украина. Казахстан, провозгласив себя суверенным, в отличие от Украины не стал ставить вопрос о независимости и, соответственно, об отдельной армии, деньгах и т. п.

В опубликованном в октябре 1991 года «Обращении к референдуму 1 декабря 1991 года» сам Александр Исаевич, по существу, был вынужден признать нереальность на данный исторический момент идеи объединения славянских народов вокруг России. Он приветствовал «национальный референдум (о независимости) на территории бывшей УССР» и пообещал «тепло поздравить Украину с возобновлением ее государственного и культурного пути».

Не смог предусмотреть Солженицын и известных центростремительных тенденций в республиках на территории бывшего Союза — выражающихся в форме выработки единого экономического соглашения, концепции единого военного пространства, общих внешних границ и т. п. Как и сохранения рудиментного «имперского центра» в виде нынешних союзных структур.

Словом, контуры описанного в статье «Как нам обустроить Россию?» Российского Союза в густом тумане нашей политической жизни пока не очень-то просматриваются. Хотя отдельные конфигурации и блоки, напоминающие его очертания, на краткое время из этого тумана и проступают. Но выход из нашей нынешней ситуации может оказаться очень неожиданным. И набросанная Солженицыным год назад политическая схема еще может сыграть свою роль в его обнаружении. В частности, много ценного несут в себе выделенные им направления развития «демократии малых пространств», реанимации провинциальной жизни и т. п.

СТАНЕМ ЛИ МЫ УМНЕЕ?

Задним числом подсчитывать, что угадал, а что не угадал в российской действительности живущий за рубежом писатель — дело, однако, неблагородное. Куда благороднее признать, что своим эссе он заявил о себе как о крупном политике с оригинальным взглядом на вещи. Политике, предложившим свое целостное, концептуальное видение страны, обладающее внутренним единством, которого так не хватает программам многих современных партий и движений. Что, следовательно, в его лице мы имеем дело со столь редкой в наше время и у нас в стране личностью ренессансного масштаба, способной создавать новые ценности в самых разных областях человеческой деятельности.

Признать это важно и для нас самих — приученных десятилетиями к всемерному и по всем статьям умалению личности. В частности — к тому, что «великим» своего современника (если только он не партийный вождь) можно назвать только после его смерти,— но никак не благополучно живущего рядом. Сейчас важно признать, что личность имеет право даже и на свой глобальный проект «обустройства» и переустройства страны, мира — чего угодно, если только этот проект никому не навязывается насильно. Дело истории — решать, насколько такие проекты удачны.

Мы так и не успели признать это право за личностью Андрея Дмитриевича Сахарова — личностью столь же крупной, как и Солженицын, хотя и практически иного свойства. Мы воздали должное личности Сахарова в худшей своей традиции — то есть, лишь посмертно. Но великого Солженицына мы уже желаем иметь живого и рядом с собой. Об этом наглядно говорит общественная кампания за его возвращение на родину и та радость, которую вызывают в стране встречные шаги писателя. Симптом ли это того, что мы излечиваемся, наконец, от своих пороков, избавляемся от уродливых «традиций»?

Игорь Бестужев-Лада

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ

И было так: в веке двадцатом по Рождеству Христову стали распадаться империи...

Вообще-то они всегда распадались — иначе из чего и на чем возникали бы! Но в истекающем столетии что-то уж очень зачастило. И что самое, казалось бы, огорчительное: не миновала и нас с вами чаша сия. При этом распадаются как-то чудно́. Там, где все вроде бы от века и на века — рассыпается, как горох из лукошка. Там, где все дышит на ладан,— вдруг возрождается, как птица Феникс из пепла. Наконец, там, где империи ни с какого боку не видать, она вдруг проглядывает в самом неожиданном обличье. Даже не верится, что и ей судьба когда-то пойти прахом.

Часто приходится слышать в наш адрес и от чужих, и даже от своих: рушится-де последняя империя. Если бы!..

В самом начале века взорвались и рассыпались разом две тысячелетние империи: китайская и персидская. Но уже к середине столетия обе воскресли под новыми названиями и в новом естестве, посуровее старых. Первая мировая война погребла еще четыре империи: Российскую, Оттоманскую, Австрийскую (Австро-Венгерскую) и Германскую. Из них воскресли сначала российская (под названием СССР), а затем и германская («третий рейх»). Вторая мировая война покончила с германской, итальянской и японской империями. Ну, думали, уж остальные-то простоят до второго пришествия. И тем не менее, не прошло двух-трех лет после войны, как пошла прахом британская, за ней французская, затем нидерландская, бельгийская, португальская, испанская. И вот теперь — наша очередь.

Правда, мы не последние в этой очереди. Та же судьба неминуемо ждет и другие имперские образования. Та же судьба — потому что досконально прояснено: без империи — легче и лучше. А вот не последние в этой очереди — потому что все более проясняется: каждая империя — не только птица-феникс, постоянно рассыпающаяся прахом и возрождающаяся (на свое горе!) вновь, но еще и русская мегаматрешка, состоящая из множества макро-, микро-, мини- и нано-матрешек, одна в другой. Как только начинает разваливаться «мега», из ее чрева немедленно появляется «макро», затевающая свару с «микро», та — с «мини» и так далее. Этот процесс неизбежен, бесконечен и безысходен, ибо является порождением самой настоящей нечистой силы (не обязательно в христианском, мусульманском или индуистском толковании ее) и подчиняется законам Инферно и Стрелы Аримана, открытым, точнее, трактованным моим учителем Иваном Антоновичем Ефремовым. Помните! «Инфернальность — метод добиваться улучшения вслепую, как в игре, бросая кости несчетное число раз, причем за каждым броском — миллионы жизней, погибающих в страдании и безысходности; Стрела Аримана — тенденция плохо устроенного общества с морально тяжелой ноосферой умножать зло и горе».

Что, кажется, общего между Советским Союзом и Югославией, почти полвека олицетворявшими противоположные полюса бюрократии и

демократии в так называемом социалистическом мире! Тем не менее, обе империи мечены одной и той же дьявольской печатью, мучительно разлагаются заживо в полном соответствии с законами Инферно и Стрелы Аримана, причем до такой степени схоже, что со стороны представляется: просто люди в обеих странах прокляты Богом, помутившим их разум и ослепившим их очи в братоубийственной и самоубийственной ярости. Но если разобраться повнимательнее, обнаруживаются скрежещущие шестеренки адской машины, губительно действующей во всех случаях жизни по одним и тем же законам, как только чуть стронешь неустойчивое имперское равновесие, которое покоится на силе и лжи.

Вот сербы — югославские «русские», вынужденные содержать ради сохранения империи своих юго-югославских собратьев и «доить» с той же целью гораздо более зажиточных югославских «прибалтов» — словенцев и югославских "украинцев" — хорватов. Естественно, тех не устраивает роль дойной коровы, и они начинают рваться на сторону, как только чуть ослабла карающая имперская длань марксизма-титоизма. Ну словенцам в их национально более или менее однородном регионе это почти удалось, да и то после долгих мучений, да и то под вопросом. А что прикажете делать «Украине»-Хорватии, когда в ней полным-полно югославских крымов и одесс, донбассов и харьковщин! Причем в каждой хорватской «одессе», в свою очередь, хватает украинцев-хорватов, а среди них, в свою очередь... ну, и так далее.

Иногда представляется, что Дьявол столкнул сербов с хорватами единственно для того, чтобы показать народам бывшего Советского Союза, что́ именно их ожидает, если они вздумают пойти по тому же пути. Но если это и так, то Лукавый напрасно старался, ибо, во-первых, мы уже вступили на сей гибельный путь, а во-вторых, у нас у самих предостерегающих примеров более чем достаточно.

Да, Советский Союз — империя, люто враждебная подавляющему большинству ее населения (включая автора сих строк и едва ли не каждого, регулярно читающего «Горизонт» без злобы и доносительских помыслов). А что остальные, бывшие союзные, ныне суверенные республики — швейцарские конфедерации, датские королевства, что ли! Вы только посмотрите, что делается в каждой из них, начиная с России и кончая любой из трех прибалтийских или Молдовой! В этом отношении Господь пощадил только Армению и Азербайджан с их «словенскообразным» национально-однородным состоянием. Но и тут Дьявол (в образе Иосифа Виссарионовича) создал Карабах, в котором оба народа безусловно сгинут, как в трясине, если не образумятся.

С сугубо рациональной точки зрения проблема Карабаха (и всех прочих потенциальных «карабахов») не стоит выеденного яйца. Объявил это действительно специфичное региональное образование республикой (безо всяких дурацких эпитетов, вроде ставших у нас привычными), установил над ней патронат Армении и Азербайджана, как Испании и Франции над Андоррой,— ну, пусть в первую очередь Азербайджана ввиду особенностей территориального расположения, создал двухпалатный парламент, в котором верхняя палата с правом вето — поровну от армян и азербайджанцев, создал ответственное перед парламентом правительство, способное в корне пресечь любые имперские замашки как Баку, так и Еревана — и в Карабах, как сегодня в Андорру, можно было бы миллионами со всего мира туристов возить на радость и поучение всему свету. А мы оттуда вывозим только беженцев — тоже на поучение, но отнюдь не на радость.

Так было бы, если бы Господь (Христос и Магомет) просветил обе стороны. Но сегодня обе — во власти Дьявола. И нет, и не видно им спасения, и ближе, и ближе обоюдная погибель.

Как работает адская машина Инферно, как крутятся ее шестеренки! Да так же, как тысячелетия, столетия и десятилетия назад повсюду в мире. Сначала появляются герцены-вольтеры — носители благих идей (в том числе идей национального освобождения), люди сами по себе умнейшие и благороднейшие. Их сменяют фанатичные ленины-робеспьеры, которые вымащивают этими идеями дорогу в ад, заодно гильотинируя всех вольтеров, не успевших умереть собственной смертью. Тем на смену приходят лукьяновы-талейраны, преобразующие фанатизм в рационализм обеспечения благосостояния-всевластия новой аристократии-номенклатуры (и обязательно убирающие робеспьеров намного дальше «Горок» и других домов отдыха). А в конечном итоге довольно потирает руки Тит Титыч Ротшильд, которому перепадает львиная доля добычи.

Юноша бледный со взором горящим, который сжимает в руках обрез, чтобы пальнуть в заклятого национального врага, или гранату, чтобы швырнуть ее в толпу женщин и детей «во имя своего отечества», даже не подозревает, что является «шестеркой», слепым орудием в руках мерзавцев, весь смысл существования которых сводится к тому, чтобы упиваться властью, давясь дефицитной икрой и тиская задарма свою спецбуфетчицу, либо перечислять на шифрованный счет в швейцарском банке очередной миллион награбленных рублей, переведенных в доллары по рыночному курсу.

Ну да Дьявол с ними, с ильичами, кузьмичами и титычами всех ста национальностей нашей бывшей империи. Подумаем лучше о судьбе миллионов их жертв, и в первую очередь тех, кого выгнали, гонят и будут гнать из своего жилья на произвол этой самой судьбы. Не могут не гнать, ибо это есть способ существования этнократа, всплывающего из небытия на мутной волне племенного, местного и местечкового шовинизма. Это — обязательная жертва, сжигаемая у подножия его трона (кресла, стула), чтобы попрочнее и подольше посидеть на нем.

Кто-то не поленился, подсчитал, что если все 290 миллионов счастливчиков, кому повезло родиться в этой Богом и людьми проклятой стране, начать разводить строго по их национальным квартирам — по границам, прочерченным в свое время шайкой фанатиков-бандитов, преследовавших некие свои, ныне усопшие цели, то получится не 700 000 беженцев второй половины 80-х годов (ныне, наверное, уже намного больше), а примерно на два порядка выше, десятки миллионов обреченных на мучительную гибель людей. Это будет великое переселение советских народов, по сравнению с которым аналогичное явление в мировой истории более полутора тысяч лет назад под натиском кочевников-гуннов покажется пикником на обочине. Тут мы явимся как бы гуннами сами себе на началах привычного самообслуживания.

Как избежать неотвратимо надвигающейся напасти!

По старому анекдоту, от этой болезни существуют только два лекарства — и оба не помогают. А надо, чтобы помогло! Хотя бы то, которое действительно способно помочь.

Первое соблазняет простотой, которая и в данном случае оказывается хуже воровства, поскольку заменяет миллионы беженцев примерно таким же количеством постреляных-порубанных людей. Это — простота дубины, или точнее, штыка, которым, как известно, можно сделать многое, но на котором неудобно сидеть.

Достаточно пересесть на кубинские 30 гр хлеба в сутки, учетверить нашу четырехмиллионную армию (вместо того, чтобы, как подсказывает элементарный разум, по меньшей мере вчетверо сократить ее), ощетиниться ракетами во все четыре стороны света — и через секунду издохшая империя снова оживет. Чтобы вновь издохнуть через минуту.

Да, таким способом нетрудно возвратить Литву в границы 1939 года (раз уж требуют возвращения к этому году), ограничить Эстонию и Латвию районами, где говорят по-эстонски и по-латышски, порекомендовать в точности то же самое Украине, сменить популярный в Кишиневе лозунг «Чемодан — вокзал — Москва» на зеркально отраженный «Чемодан — вокзал — Бухарест», вывести войска с Кавказа и из Средней Азии, перекрыв топливно-продовольственные дотации и предоставив тамошним аборигенам разбираться друг с другом самостоятельно (полного обезлюдения соответствующих пространств можно ожидать уже через несколько месяцев). Но ведь столь же нетрудно представить себе, что произойдет дальше. А дальше произойдет Ливан, умноженный в сотню раз и возведенный в ракетно-ядерную степень. Афганистан от Бреста до Владивостока и от Мурманска до Кушки. Поэтому только маньяк или государственный преступник способен вступить на такую тропу войны. Тем более, что мы не одни на этой планете, и нет такого соседа, с которым полностью исключена перспектива распри по территориальным вопросам.

Второй способ принципиально отвергает военно-политическую хирургию, предлагая вместо нее политико-дипломатическую терапию, возможно, даже сплошь гомеопатическую. Переговоры! И договоры.

Да, мучительно-раздражающе. Да, мучительно-медленно. Да, то и дело вроде бы тупиково-безысходно. Но на сегодняшний день это — единственный способ увидеть в конце тоннеля свет, а не постреляннных-порубанных. А если очень постараться и проявить максимум благоразумия, доказав, что гомо сапиенс — это не просто хвастливое самоназвание данной разновидности млекопитающих, то, может быть, даже свет без единого беженца.

Уже сегодня довольно ясно прорисовываются несколько принципов — вех, с помощью которых можно проложить путь через переговорную трясину. И пожалуй, первый из них по значению — принцип незыблемости существующих границ.

Да, несправедливые. Да, плохие. И все же это тот самый случай, когда лучше бесконечный ужас, нежели ужасный конец. Пункт первый каждого межреспубликанского, межобластного, межрайонного договора, по нашему убеждению, должен гласить: никаких изменений существующих границ, если этого не предлагают обе стороны разом, либо если несогласна другая сторона. Любой призыв к одностороннему пересмотру границ должен быть приравнен к призыву массового убийства собственного народа и караться высшею мерой, по законам военного времени. Любая попытка перенести пограничный столб должна пресекаться не с той, а со своей собственной стороны: расстрелом в упор, как взбесившихся собак, как предателей своего народа.

Пункт второй по той же иерархии значений — взаимный отказ от какой бы то ни было дискриминации граждан «иной» национальности, проживающих на территории обеих высоких договаривающихся сторон. И экономической, и социальной, и политической, и культурной, и всякой другой, вплоть до квоты всех мыслимых престижных должностей (не говоря уже об избирательных постах) сообразно удельному весу граждан той или иной национальности. Должен же нас научить опыт истории хотя бы в данном отношении! Хватит, дали мы маху и хватили лиха с «инородцами» и «иноверцами». Ныне самое это понятие должно быть приравнено к физическому насилию и беспощадно караться по меньшей мере разорительным штрафом. Да, с «лимитой» у нас тоже получился и мах, и лих. Да, с этой порочной практикой надо кончать. Но если уж человек признан гражданином республики (а им, по всем законам божеским и человеческим, должен быть признан любой проживающий и работающий в ней к моменту принятия закона о гражданстве),— будьте добры считать его равноправным во всех отношениях. Ибо альтернативы поистине кошмарны.

При этом надо признать, что в разных республиках так называемое «некоренное» население (хотя какое там «некоренное», если в городе или на селе живет уже несколько поколений одной семьи, какой бы национальности она ни была!) играет существенно разную социально-экономическую роль. В Прибалтике основная масса «пришлых» была и будет той рабочей силой, без которой ни одной из трех республик все равно не обойтись. Уйдут (или их «уйдут») одни — на их место придется набирать других. И поверьте мировому опыту: проблемы возрастут в такой геометрической прогрессии, когда впору будет вспомнить об исторических словах Н. Рыжкова: «Вы еще пожалеете обо мне!» И ведь действительно, вскоре горько пожалели, хотя, по правде, чего и кого уж здесь жалеть! В республиках Средней Азии основная масса «пришлых», напротив, составляет контингент дипломированных и недипломированных специалистов, без которых экономике и культуре каждой из республик — смерть. В данном случае, опять-таки придется набирать зарубежных, а они стоят не вдесятеро — в сотню раз дороже «соотечественников»: «ненашим» предстоит платить тысячу долларов в месяц (да и откуда их взять!), тогда как «наши» привыкли довольствоваться десяткой-полутора (в пересчете по рыночному курсу, то есть по реальной покупательной способности), причем не брезгают даже рублями.

Словом, выгода оказывается с обеих сторон, а это ли не самая надежная основа для плодотворных переговоров!

Пункт третий по тому же порядку — национально-культурная автономия, стократ нами бездумно поруганная, но никуда не девшая свой поистине бесценный потенциал в смысле полноценного удовлетворения культурно-политических потребностей безо всякой перекрой-

ки границ и переселений народов. В самом деле, для чего республика — вообще любой регион — борется за независимость, самостоятельность, суверенность! Ведь не только ради герба, флага, гимна (хотя, как видим, даже за это приходится подчас бороться). Во-первых, ради того, чтобы не грабили: обложи налогом всех поровну, по взаимной договоренности, на межреспубликанские нужды, а уж с остальным предоставьте распоряжаться по собственному усмотрению. Во-вторых, чтобы не унижали: раз республика — то уж республика, без деления на сорта, подобно мясным изделиям. А в-третьих, чтобы спасти от захирения и гибели собственную национальную культуру. Но ведь для этого вовсе не обязательны ни смертоубийство, ни беженцы. Не обязательна даже территория компактного проживания, что особенно важно для народа, собственной территории не имеющего, либо проживающего в значительной своей части за пределами такой территории.

Раз в мире существует «король всех норвежцев» (есть такой титул), то не вижу причин, по которым не могло бы быть «правительство всех русских» (или «всех украинцев», «всех татар», «всех евреев», «всех немцев», «всех цыган» и т. д.), где бы они на территории нашей страны ни проживали. Понятно, речь идет о культуре. Но ведь это очень немаловажно в жизни людей! При таком подходе возможно образование экономических районов по сугубо рациональным критериям размещения производительных сил. И разумеется, совместного управления ими с пропорциональным представительством в органах управления каждой из национальностей данного района.

Особый разговор — о языке. Конечно, с имперскими замашками типа того, что куда бы ты ни приехал, все обязаны разговаривать с тобой на русском (английском, французском и т. д.) языке, пора кончать. Англичанину ныне в Индии не обязательно ответят на английском, а французу в Алжире — на французском. Почему же русские должны составлять исключение! Неужели трудно выучить две-три сотни слов, достаточных для того, чтобы объясняться на улице! Или хотя бы «здравствуйте», «спасибо»! С этими двумя словами на местном наречии автор этих строк объехал едва ли не все республики страны и, поверьте, оснований говорить «спасибо» всюду — без единого исключения до 1991 года включительно! — было каждую минуту более чем достаточно.

Но ведь помимо государственного языка может и должен существовать рабочий, понятный каждому проживающему в данной местности, независимо от национальности. Не секрет, что по историческим причинам таким языком является русский. Так зачем же его дискриминировать самоубийственным для республики образом! Это уже глупость, переходящая в преступление. И не допускать ее — в интересах самой республики.

Наконец, пункт четвертый, чтобы не продолжать до бесконечности (хотя напрашиваются и пятый, и десятый) — взаимовыгодность. «Взаимо» — это значит: обоим, а не только кому-то одному. Как ни странно, этот пункт частенько упускается из виду с самыми катастрофическими последствиями для обеих договаривающихся сторон. Дело в том, что Советская империя, в отличие от всех империй прошлого и настоящего, была как бы Алисой в Зазеркалье, где все, как известно, наоборот. Мы и здесь «пошли другим путем», получив, если можно так сказать, карикатуру на империю, антиимперию, империю, где римлянину, британцу, французу пришлось намного горше скифа, негра, араба. При

этом сложилось нечто вроде традиции, согласно которой метрополии приходится платить за сомнительное удовольствие иметь колонии. На практике это обернулось безумной попыткой взять на «свое» иждивение — точнее, на иждивение русского, украинского и белорусского мужика — треть человечества. Во что все это вылилось и чем закончилось — общеизвестно.

Тем не менее, порочная традиция сохраняется. Мы, то бишь русские, украинские и белорусские «работяги», платим семьдесят копеек с каждого заработанного нами рубля только для того, чтобы нас бесконечно обирали, презирали и унижали со всех сторон. Не слишком ли много удовольствий за 70 коп.!

Из этой теоремы проистекают по меньшей мере три аксиомы: во-первых, немедленно перестать содержать за рубежом наше же собственное порождение — человеконенавистнические тоталитарные режимы, смертельно опасные, как показал недавний кризис в Персидском заливе, для всего человечества; во-вторых, немедленно перейти на межреспубликанскую торговлю по общемировым ценам — иначе получается, что мы, как и века назад, вроде бы платим дань за своих «заложников», проживающих за пределами России; в-третьих, немедленно перейти на контрактную систему в условиях рынка рабочей силы повсеместно по стране с тем, чтобы не Россия платила за своих дипломированных и недипломированных работников, трудящихся в иных республиках, а напротив, чтобы в нее — как это и происходит во всем мире, кроме одной шестой части земной суши — текли сбережения, накопленные честным трудом. И не важно, если эти сбережения будут в национальной валюте — лишь бы она конвертировалась. И не надо пугаться безработицы: у нас на полсотни миллионов потенциально безработных полтора десятка миллионов незаполненных вакансий плюс тридцать миллионов потенциальных рабочих мест в сфере частного предпринимательства, плюс острая необходимость хоть немного разгрузить женщину-мать с малолетними детьми, что эквивалентно еще нескольким миллионам вакансий.

Словом, пора кончать с ролью вселенского дурака, которого, как известно, и у обедни бьют (точнее, обирают), пора начинать воспоминания о национальной гордости не только других, но и собственного народа.

Не последнее в данном ряду — забота Российского правительства о своих согражданах и о представителях населяющих Россию национальностей за ее пределами. Только представьте! Достаточно не то что посягнуть, а просто обидеть любого американца — и тут же за него вступается вся полусотня Соединенных Штатов, даже если это — последний подонок и в США гражданином был без году неделю. Нам еще предстоит хлебнуть горячего до слез в этом отношении.

Но как бы ни обижали и ни принижали русских за пределами России — мы молчим, как девица на выданье, боимся «испортить отношения». Да как же нас не презирать после этого!!

По моему глубокому убеждению, коммунистом после всего случившегося и открывшегося может оставаться сегодня только либо вконец оболваненный, либо вконец оподлившийся. Но вот оказывается, есть и третий вариант: коммунистами остаются или даже становятся от отчаяния, когда некоммунисты позорно предают со всех сторон. И к таким «коммунистам» я отношусь с сочувствием и уважением. Скажем так: подло предавать человека, даже если он одной с тобой национальности. Еще подлее предавать целые города, районы, области.

И это вовсе не шовинизм-национализм. Так поступают все до единого народы мира. Что же мы, у поля обсевки, что ли!

И все же, какими бы эффективными ни были переговоры о нормализации положения людей любой национальности при любых политических пертурбациях любых градов и весей нашей необъятной страны, поток переселенцев не иссякнет. Не может иссякнуть по трем веским причинам. Во-первых, он существовал всегда, задолго до начала нынешних смутных времен. Напомним, что еще в 70-х годах до 25 миллионов человек из 130 миллионов работающих ежегодно меняли место работы, в том числе миллионы — несмотря на все кошмары нашей прописки-перепрописки — место жительства. Нет никаких причин, по которым такая тенденция претерпела бы изменения в обозримом будущем, тем более, что с проклятущей пропиской нам вроде бы предстоит расставаться. Во-вторых, определенную часть «некоренного» населения при любых условиях не устроят происшедшие и происходящие изменения. Наконец, в-третьих, как ни прискорбно это звучит, многие окажутся попросту «излишними» в тех регионах, где ныне проживают, или, скажем так, где проживали их родители.

В связи с кончиной наших монстров-министерств общесоюзного характера пришел или приходит конец их выродкам — промышленным гигантам, «стройкам века» и прочему надругательству над здравым смыслом. В том числе за пределами России. Это резко сокращает потребность в лимитчиках в западных регионах. Ну а в восточных помоги, Аллах, обеспечить рабочими местами стремительно растущее местное население. В обозримом будущем ближайших десятилетий оно еще раз удвоится, а если удвоится еще раз, то неизбежно начнет стремительно удваиваться в обратную сторону и еще до конца грядущего столетия вернется к величинам столетия минувшего на горе трупов, по сравнению с которой подвиги Тамерлана покажутся забавой. Так что дай Бог тамошним жителям самим разобраться со своими проблемами, а прочим — за рамками уже упомянутых дипломированных специалистов, остро необходимых местной экономике и культуре — там больше делать нечего. Понятно, человек, годы проработавший в том или ином регионе, имеет там право на заслуженную пенсию. Речь о том, что сегодня новым «пришлым» рваться туда бессмысленно: не надо ухудшать положения там, где оно и без того быстро ухудшается.

Таким образом, реке переселения не угрожает судьба иссякнуть. Важно лишь, чтобы она не превращалась из Протвы в Волгу. И чтобы переселенцы не превращались в беженцев.

Как мы сегодня обходимся с переселенцами вообще и с беженцами в особенности! Большей частью рассовываем их по домам отдыха и пионерлагерям вокруг крупных городов. Позавидовать такой судьбе трудно. И людской, и городской. Ведь в конечном счете, всеми правдами-неправдами такие «перемещенные лица» умножают население крупных и сверхкрупных городов. А это — наименее разумное и наиболее глупое, мало того, наиболее катастрофическое из всего, что можно и нужно предпринять. Например, население Москвы только за последние пять лет — при всех ужесточениях московской прописки — выросло на целый миллион и продолжает расти (кстати, целиком за счет приезжих, ибо сама по себе Москва, как и любой крупный город, место выморочное, к воспроизводству здоровых поколений менее всего приспособленное). Понимают ли наши бояре-окольничии и становые-городничии, в какую яму они сталкивают страну! Читали ли они диссертацию, за которую автор, кстати, как обычно, нахватал «черных шаров» от дремучих профессоров-доцентов в соответствующей вузовской управе псевдоученого благочиния и в которой точно рассчитано: не остановим расползания Москвы, как кляксы на промокашке — получим лет через тридцать — сорок столько же миллионов человек в многоэтажной застройке Московской и смежных с ней областей с необходимым утроением-учетверением всей сети коммуникаций до метро включительно и с судьбой, которой ужаснулись бы гораздо более счастливые жители Содома и Гоморры. И разве только Москве грозит такая судьба!

Выход видится в сооружении сотен городов-новостроек на базе медленно умирающих или уже окачурившихся малых городов, поселков и сел. Без разбойничьего захвата лесов, лугов и пахотных земель, площадь которых и без того катастрофически сокращается. В Российской академии естественных наук создан Институт экономики и организации предпринимательства. России более чем достаточно «неудобий» для городской застройки, в том числе и благоустроенными коттеджами, обитателям которых позавидовали бы любые столичные жители. Без идиотского стремления превратить нормальный город в миллионный город-урод, вроде Москвы и любого нашего областного центра. Подручных строительных материалов, в отличие от иных-прочих стран, где едва ли не каждая семья — в вышеупомянутом благоустроенном коттедже, навалом. Рабочих рук, жаждущих заработать себе такой коттедж,— миллионы. Так за чем же дело стало! Только за нашей расейской обломовщиной. Но разве это такое уж непреодолимое препятствие!

Не обычный академический институт, где одна «штатная единица» работает, а десять годами слоняются в рабочее время по магазинам и кинотеатрам. Нет, здесь все построено на контрактах-хоздоговорах, и каждую копейку предстоит зарабатывать эффективными научными рекомендациями начинающим и уже начавшим предпринимателям (и кстати, целиком за счет последних). Не вижу причин, по которым не мог бы появиться Институт экономики и нормализации расселения, да не один, а десяток-другой, на тех же хозрасчетных основах, которые безусловно окупятся сторицей. Там найдется приложение сил научным работникам едва ли не всех ученых специальностей. И может быть, оттуда забрезжит свет в окошке для миллионов сегодняшних и завтрашних переселенцев!

Переселенцев, не беженцев!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11 «Горизонта»

По горизонтали: 6. Перекат. 9. Логос. 10. Сифон. 11. Висенте. 12. Жираф. 14. Сенат. 15. «Дэиси». 17. Камея. 20. Анион. 23. «Калинка». 25. Линейка. 26. Аллегория. 27. Бювар. 28. Болид. 29. «Наклебник». 31. Бобслей. 32. Туликов. 33. Скунс. 36. Гагат. 37. Атлет. 40. Канон. 42. Ритор. 43. Швартов. 44. Пульт. 45. Конёк. 46. Рязанов.

По вертикали: 1. Мелисса. 2. «Пепел». 3. Гартман. 4. Софит. 5. Посад. 7. Гилея. 8. Вокал. 13. Фаска. 14. Серия. 16. Интеллект. 17. Коломбина. 18. Капюшон. 19. Пикассо. 21. Мезолит. 22. Аквилон. 24. Алтай. 25. Лимит. 29. Неман. 30. Купер. 33. Саквояж. 34. Строчок. 35. Гарус. 36. Гольф. 38. Тимор. 39. «Полёт». 41. Ареал.

«МНЕ ЛУЧШЕ ТАМ, ГДЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ...»

С художником Игорем Ганиковским беседует искусствовед Вера Чайковская

Молодой литератор из провинции рассказал мне, как некогда случайно увидел две картины художника Игоря Ганиковского, и одна стала ему сниться по ночам. Он приехал в Москву и попросил у Игоря эту картину, так как он «не может без нее жить».

И вот я беседую с художником.

— ИГОРЬ, ВАС ЗНАЮТ ИСКУССТВОВЕДЫ И ХУДОЖНИКИ, ВАШИ РАБОТЫ ПОКУПАЮТ СОЛИДНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КАРТИННЫЕ ГАЛЕРЕИ, А ШИРОКОМУ ЗРИТЕЛЮ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВЫ ПОЧТИ НЕ ИЗВЕСТНЫ. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОПУЛЯРНОСТИ? ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ ВЫ ПИШЕТЕ КАРТИНЫ? Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ НЕ СРАЗУ СТАЛИ ХУДОЖНИКОМ.

— Я кончил 444-ю математическую школу — одну из лучших в тогдашней Москве, а затем с красным дипломом Институт стали и сплавов. Ясно, что ни художником, ни музыкантом становиться я не собирался. Но в геологоразведочном НИИ, куда меня распределили после института, я не мог себя реализовать.

— А РАНЬШЕ, В ДЕТСТВЕ, ВЫ ЖИВОПИСЬЮ ЗАНИМАЛИСЬ?

— Даже не интересовался. Мама любила музыку, балет, а в музеи меня не водила.

— ВОТ И ТРЕТЬЯКОВКА, КАК Я ПОНЯЛА, МЕСТО ДЛЯ ВАС НЕ СОВСЕМ РОДНОЕ, А ТОГДА, В 60-е, ЕЩЕ МОЖНО БЫЛО ЕЕ СВОБОДНО ПОСЕЩАТЬ.

— Да. Нас туда в школе водили Но экскурсоводы и учителя показывали все так безграмотно, что начисто отбили всякий интерес к живописи.

— КАК ЖЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ В ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ К ЖИВОПИСИ? И КОГДА?

— Мне было уже 28 лет, когда однажды я оказался в командировке в маленьком сибирском городке. Скука вселенская — готов был на стену лезть. Все перечитал, знакомых нет, идти некуда. На столе в гостиничном номере лежал карандаш. Я стал чертить на листе бумаги какие-то несуществующие в природе геометрические фигуры, как мне казалось, выражающие тоску. Эту идею позже я воплотил в картинах. А тогда, вернувшись домой, отыскал с детства завалявшийся подарок — огромный набор цветных карандашей, стал ими рисовать. И каждый новый рисунок был лучше предыдущего. Мне это и мама говорила, и сестра, и знакомые. Тогда я купил масляные краски, кисти, какие-то картонки. Даже не знал, что холст нужно натягивать на подрамник.

— А НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ПОДУЧИТЬСЯ?

— Было. Я и пошел в студию при клубе имени Серафимовича. Там был замечательный преподаватель Исай Меерович Браславский. Там и взрослые занимались, и дети. По субботам и воскресеньям. Мне тогда казалось, что нужно обязательно овладеть «академическими» навыками, писать обнаженную натуру.

— А ЧТО ДУМАЛ НА ЭТОТ СЧЕТ ВАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?

— Ему так не казалось. Он дал мне волю. Я ему приносил то, что делал дома: это были в основном живописные фантазии о музыке. Он говорил: «Хорошо. Приносите еще». Казалось, что он меня и не учит, а он давал мне свободно развиваться. Но это я сейчас понимаю, тогда же мне хотелось «учебы». Я эту студию бросил и пошел в другую, к преподавателю Казанскому Михаилу Сергеевичу.

— И ОН ВАС СТАЛ «УЧИТЬ»?

— Нет, он тоже только смотрел. Я думаю, что это мой путь такой. И поэтому такие попадались педагоги. Словно специально для меня: не ломали, а дали раскрыться. Через несколько лет я стал работать самостоятельно. К этому времени я преподавал математику в техникуме, давал уроки физики, а все свободное время рисовал. Долго был комплекс, что я живописи серьезно не учился. Но потом оказалось, что я больше знаю, больше читал о живописи, смотрел альбомов, ходил в музеи, чем люди с художественным образованием.

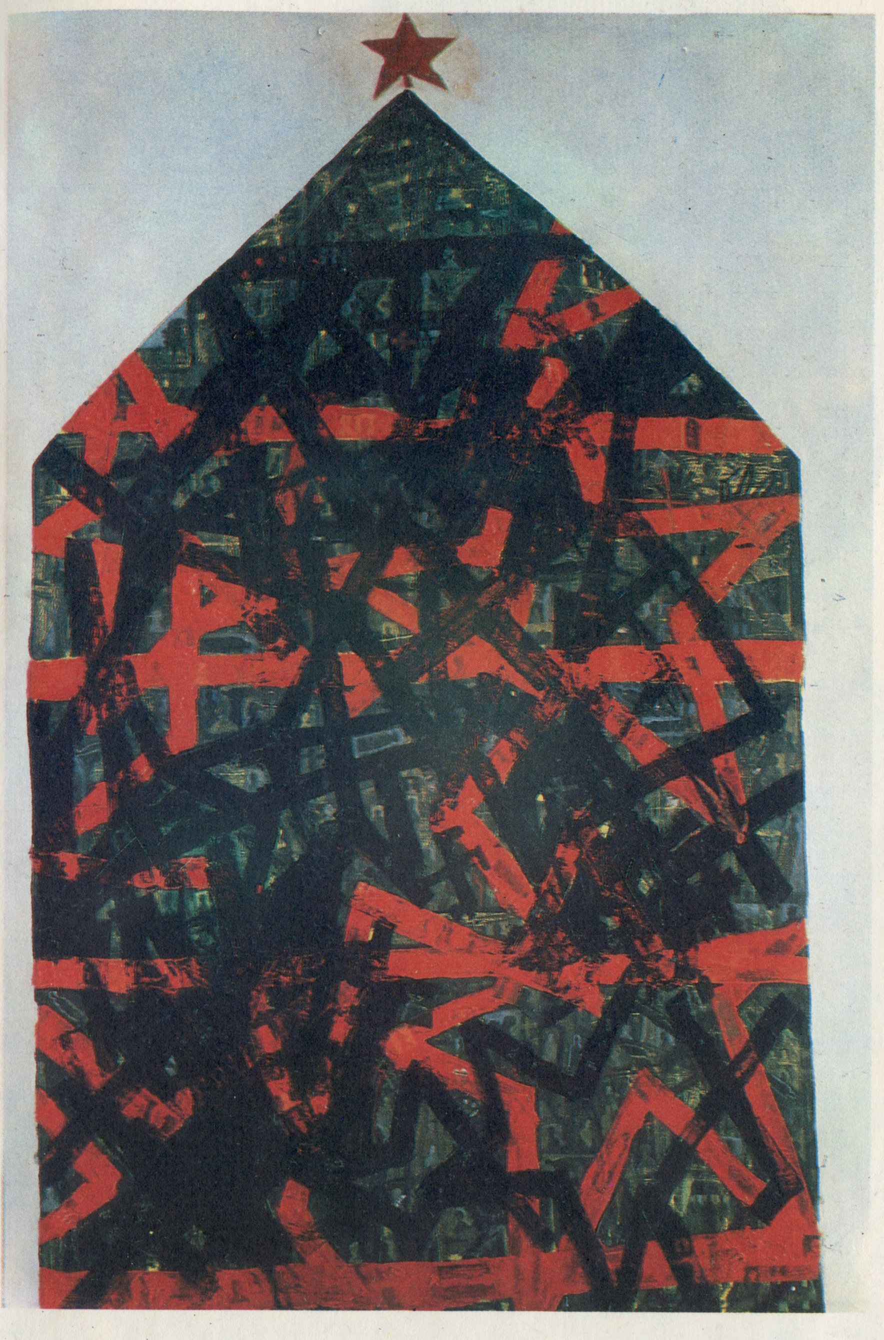
— А В ТРЕТЬЯКОВКУ ТАК И НЕ ВЕРНУЛИСЬ?

— Почему? Вернулся. К русской иконописи.

— А КТО НРАВИЛСЯ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ?

— Долгое время вообще никто не нравился. Первая выставка, которая меня, что называется, прошибла,— Ван Гога. Поразили экспрессия, сумасшедший цвет.

ИГОРЬ ГАНИКОВСКИЙ



Советский собор, 1989



Гетто, 1990

Свечи и корабли, 1989



— В ВАШЕЙ СУДЬБЕ ОТЧЕТЛИВО ПРОСТУПАЕТ МОТИВ «РАДИКАЛЬНОГО СТРАННИЧЕСТВА», КАК Я ЭТО НАЗЫВАЮ. ТУТ НЕ ПОСТЕПЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТИНЕ, А НЕКИЙ РЕЗКИЙ ПЕРЕЛОМ, ВНЕЗАПНОЕ ОЗАРЕНИЕ, КАТАСТРОФА, ЧРЕВАТАЯ «УХОДАМИ».

— Но я не закончил о моей учебе». По книжке узнал, как натянуть холст на подрамник. Тут мне сказали, что есть такое Молодежное объединение художников. Я принес к ним несколько картин. Одну взяли на выставку, а это означало, что меня приняли. Я получил статус. Но по-прежнему с художниками не общался. Однажды я попал на Сенеж, в Дом творчества художников. Вот там и вошел в их круг.

— КСТАТИ, А КАКОВ КРУГ БЛИЗКИХ ВАМ ХУДОЖНИКОВ?

— Это Лев Табенкин, Борис Марковников, Натан Злотников, Белла Левикова... Я начал заниматься живописью, потому что мне тяжело было жить.

— ТРАГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ВАШЕЙ ЖИВОПИСИ Я ВО МНОГОМ СВЯЗЫВАЛА СО СМЕРТЬЮ РОДИТЕЛЕЙ. НО ОЧЕВИДНО, ЭТО ГЛУБЖЕ И СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО С ВНЕШНИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ЖИЗНИ. ЭТО ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ ТРАГИЗМА БЫТИЯ.

— Да, хотя ранняя смерть отца очень на меня повлияла. Мне было тогда девять лет. Мы с мамой и сестрой часто ходили на кладбище. Отсюда многие символы в моих картинах, например, две руки. Такие изображения встречаются на надгробиях еврейских могил. Возникло совершенно особое отношение к смерти: она близко, рядом. Я стал думать: почему умирают? Почему рано умирают хорошие люди?

— В ВАШИХ КАРТИНАХ ПОСТОЯННО ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВЕ ВЗЯВШИЕСЯ ЗА РУКИ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ФИГУРКИ, КОТОРЫЕ Я ОТОЖДЕСТВЛЯЮ С ВАШИМИ РОДИТЕЛЯМИ... ЗНАЧИТ, ВЫ В ЖИВОПИСИ ИСКАЛИ УТЕШЕНИЯ, А НЕ ДУМАЛИ О СЛАВЕ ИЛИ О ДЕНЬГАХ?

— Первые деньги я получил через десять лет после начала занятий живописью. Вся моя деятельность показывает, что я не гнался за деньгами. Мне заказывали расписывать сказочными сюжетами стены детских садов. Это у меня получалось. А один раз заказали написать рабочего — я так и не смог. Я могу писать только то, что отвечает моим мыслям, настроениям. Я не умею подлаживаться.

— А О ЗРИТЕЛЕ ВЫ ДУМАЕТЕ? ВАШИ КАРТИНЫ ОЧЕНЬ КРАСИВЫ, АРХИТЕКТОНИЧНЫ, НО ИХ ГЛУБИННЫЕ СЛОИ ОТКРЫВАЮТСЯ ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ И НЕ ВСЕМ.

— Я не думаю ни о ком. Рисование — способ моего существования. Если это у меня отнять, я наверное умру. Вы сами видите, что у меня всегда что-то новое. Не хочу просто «гнать продукцию». В США любят диктовать, но когда я там был, мне везло, они не давили на меня, многое покупали. А в одной галерее сказали: «Нам нравятся ваши «Свечи». Пишите только это». Я отказался. Мне хочется быть разным, расти.

— ОЧЕНЬ РУССКАЯ МЫСЛЬ — О БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ ИСКУССТВА, УЛАВЛИВАЮЩЕГО ГОЛОСА ИНЫХ МИРОВ. НО В ВАШЕЙ ЖИВОПИСИ, КРОМЕ ОБЩИХ РАЗДУМИЙ О МИРОЗДАНИИ, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ ЛИЧНЫЕ, ИСПОВЕДАЛЬНЫЕ МОТИВЫ. ВСЕ ЭТИ МЕРЦАНИЯ, ВСПЫШКИ КРАСОК, ТУМАННОСТИ — ЭТО ЖЕ СВОЕОБРАЗНАЯ «ДИАГРАММА» ДУШИ.

— Но и о мироздании можно мыслить эмоционально и думать о своем месте в нем.

— ВАШИ КАРТИНЫ ПОЛНЫ СИМВОЛОВ. ЭТО И СВЕЧИ, И РУКИ, И ОБЛАКА, И ОКНА — ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧИСЛИШЬ. КАКОВЫ КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ ЭТОЙ СИМВОЛИКИ? ДРЕВНЕРУССКАЯ ЖИВОПИСЬ?

— Не только. Тут и наскальная живопись, и некий вариант модернизма от Ван Гога и Сезанна до Кандинского и Малевича. Из современных художников на меня оказал влияние, пожалуй, только Шварцман.

— В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЫ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТЕ. ЧТО ДАЮТ ВАМ ЭТИ ПУТЕШЕСТВИЯ?

— Я никогда не думал, что буду путешествовать. Но с 1988 года у меня были персональные выставки в Хельсинки, Париже, Милане, Нью-Йорке, в Ганновере и Билефельде (Германия).

— И ДВЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ?

— Да, одна в Курчатовском институте, а другая в Фонде культуры. Выставил там около 70 работ. Теперь множество картин разошлось по миру. Но должен сказать, ничего нового в смысле каких-то художественных идей я на Западе не нашел. Открытий не было, хотя, когда видишь произведение «живьем», все это производит совсем иное впечатление, например, капелла Джотто в Падуе. А вообще-то я спокойно отношусь к «загранице».

— А ГДЕ ВАМ ЛУЧШЕ?

— Лучше там, где дают работать.

— ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВАС?

— Если Господь Бог даст мне сил и я не буду отклоняться от пути, все будет нормально.

Иван Савин

Сегодня, в пору реабилитации многих попранных истин и восстановления искаженных мифами советской эпохи понятий, пусть трудно и медленно, но все же приходит к нам правда о Белом движении, о героях Белой борьбы.

В подавляющем большинстве своем страстотерпевцы и патриоты своей Родины, участники Белого движения, заведомо знавшие, на что они шли, отстояли честь и достоинство России.

«Когда Добровольческая армия уходила в первый, Ледяной, поход, вопрос... о необходимости нашей борьбы был поставлен вождю и основоположнику Белого движения генералу Алексееву. Он ответил на него примерно так: «Куда мы идем — не знаю. Вернемся ли — тоже не знаю. Но мы должны зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы»,— писал последний генерал дроздовской дивизии А. Туркул в своей замечательной книге «Дроздовцы в огне».

Одним из наиболее выдающихся певцов крестного пути Белой армии среди десятков других, ушедших из России в эмиграцию писателей и поэтов, был Иван Иванович Савин (1899—1927).

Многое успело вместиться в короткую и яркую жизнь Ивана Савина: добровольное вступление в армию, пленение во время крымского отступления в частях П. Врангеля, чудесное спасение, гибель четырех братьев в борьбе с большевиками, бегство и скитания по России. И далее — как закономерный итог — отъезд в Финляндию, в Хельсинки, где он трагически рано умирает, не успев свершить всего задуманного.

За свою недолгую жизнь Савин, которого в эмигрантской критике 1920-х годов называли «поэтом Белой борьбы», сумел все-таки сказать о Белом движении, о гражданской войне бесконечно много.

В вооруженной борьбе с большевизмом Савин сформировался как человек, как личность. Его дальнейшая работа в литературе вся пронизана памятованием этих огненных лет, трагизмом той гибельной для России поры.

В очерке «Плен», посвященном крымской катастрофе, Савин писал: «Только тогда, в те воистину голгофские года, я почувствовал в себе, осязал и благословил камень твердости и веры, брошенной мне Белой борьбой.

Если человек несет в себе внутреннюю правду, всякое насилие извне только усиливает ее тайную сопротивляемость насилию, приближает ее к святости...»

В своих стихах и прозе ему, как мало кому другому из писавших о том времени, удалось прочувствовать внутреннее содержание той битвы за Россию, которая шла на ее земле в 1917—1921 годах. Савин, вполне сознательно вставший в ряды Белого воинства, прекрасно знал, к а к а я борьба свершается на просторах распятой Родины и какой сатанинский обман был содеян большевизмом по отношению к своему народу.

И вполне справедливо будет закончить это вводное слово к предлагаемому вниманию читателей небольшому эссе писателя цитатой из книги А. Туркула, которая является одной из лучших проникновенных книг о Добровольческой армии: «Понимали мы, что деремся за Россию, что деремся за самую душу нашего народа, и драться надо. Уже тогда понимали мы, какими казнями, каким мучительством и душегубством обернется окаянная советчина для нашего обманутого народа. Мы точно уже предвидели тогда Соловки и архангельские лагеря для рабов, голод и террор, разорение, колхозную каторгу, все бесчеловечные советские злодеяния над русскими. Пусть народ еще и шел против нас за большевистским отрепьем, но мы дрались за наш народ, за его душу и свободу. Верили, как и теперь, что русский народ, поняв все так же, как поняли мы, пойдет тогда с нами против советчины. Эта вера и была всегда тем «мерцанием солнечных лучей», о каком писал в походном дневнике генерал Дроздовский».

Сегодня, как видим, пророческие эти слова начинают сбываться.

Е. Д.

МОЕМУ ВНУКУ

— Я не знаю, каким ты будешь: смуглым или золотоволосым, скрытным, с деланным равнодушием серых глаз, или с глазами синими и душой открытой, как кусочек весеннего неба в тяжелом полотне туч, жестоко ли заколотишь себя в дымном склепе кабинета, или, махнув беспечно рукой на чины, ранги и ордена, до заката своих дней просмеешься на чердаках богемы.

— Я даже не знаю, будешь ли ты вообще,— как приподнять завесу будущего? Уже из этого факта, что ты сын моего несуществующего сына, можешь заключить, каким безнадежным мечтателем был твой странный дед.

— Иногда, вот и сегодня, мне кажется, что ты весь будешь в бабку, тоже еще пока находящуюся в проекте: чуть-чуть нелогичный, с пухлыми пальцами и сердцем тоже пухлым, вечно ребячьим: в детстве будешь часто падать, плакать крупными каплями слез, и любить бутерброды «на три канта», т. е. в три этажа... Потом вытянешься, закуришь потихоньку, в промежутках между изучением семнадцати наук будешь бить головой футбольный мяч или мячом голову — к тому времени правила игры изменятся, как и все вообще,— скажешь какой-нибудь девочке, играющей в девушку,— «я вас люблю» и радостно подумаешь: «я совсем взрослый»... Потом... Вот по поводу этого «потом»... я и хочу поговорить с тобой, мой милый внук!

— В самом деле, что будет потом? Это так просто: тебе раза два изменит любимая женщина и раза три не заплатит по векселям лучший друг. И ты попробуешь приставить к виску нехорошую штуку, которая у нас называется револьвером. Или для переселения в иной мир у вас будут выдуманы особые радиоволны?

— Пусть так... Пытаясь прожечь себя радиоволной, ты обязательно подумаешь, что жить не стоит, а если будет в тебе особый вид недуга — неравнодушие к цитатам, то ты скажешь не без трагизма: «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг — такая пустая и глупая шутка».

Вот тогда-то и вспомни совет деда: умрешь ли ты, или все это так нарочно, жизнь беспредельно хороша! Брось радиоволны, радиоревольверы, радиояды... Самая прелестная в мире женщина и самый большой на свете вексель,— микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни.

— Дышишь ли ты сейчас пылью сенатского решения за 1963 год, или дешевой пудрой какой-нибудь остроглазой Зизи,— и в пыли архива и в пудре твоей случайной подруги пахнет тем, что безгранично выше минутных горестей и разочарований — жизнью. Не комкай же ее, не проклинай, не рви!

Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность,— сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов, только не красных,— мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли 0.003 акции какого-либо банка, случайно купленные и полузабытые, немного суше чем обычно поздоровается она? — мы неизменно ворчали:

— Ну и жизнь! Вот бы кто-нибудь перевернул ее вверх дном! Теперь ее перевернули. Кажется, надолго. Десятый год, мировые акробаты, стоим на голове у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь, только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли наконец, что «Ну и жизнь!»...— была настоящей жизнью, что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя. Еще в школе ты читал в учебнике истории, что вторую русскую революцию — некоторые называют ее «великой» — подготовили социальные противоречия и сделали распустившиеся в тылу солдаты петербургского гарнизона. Не верь! Революцию подготовили и сделали мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны третьей степени, мечтавшие о второй, студенты первого курса, завидовавшие третьекурсникам и наоборот: штабс-капитаны, до глубины души оскорблен-

ные тем, что Петр Петрович уже капитан, добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким, и жены недобродетельные, полууверенные в том, что изменять своим мужьям — довольно горько, учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие что-нибудь другое, судебные следователи, страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами. Революцию сделали те, кто хныкал с пеленок до гроба, кто никогда и ничем не был доволен, кому всего было мало, кто в девяноста девяти случаях из ста жаловался, брюзжал и ругался, так сказать, по инерции... А сделав революцию, мы с безмерной болью — ты не поймешь этой боли, милый мой — убедились, что у нас была не воображаемая, не мифическая, а действительная жизнь, теплая, ласковая, богатая, чудная жизнь.

Теперь ничего нет, мы сами себя ограбили. Тебе, пронизанному жизнью, солнцем, уютом семьи и родины, тебе трудно представить, что значит бродить по чужим дворам, никогда не смеяться, душу свою живую, человечью душу, вколачивать в тиски медленной смерти. Как же нарисую тебе протянутое по всему миру полотно, вышитое нашими нервами?

Когда я смотрю на карие, черные, синие глаза тех, кто вместе со мною стучится у чужих ворот, мне кажется, что это — карие, черные, синие чашки слез. Вероятно, потому мы так осторожно, пугливо ходим — боимся пролить... Если бы нашелся такой чудак, который устроил бы выставку русских улыбок,— произведения наших губ были бы по очень высокой цене раскуплены матерями капризных детей: этими судорожными гримасами они пугали бы шалунов так, как нас пугают Чекой, ты не знаешь, что это такое? И не надо знать! Ваши химики, конечно, уже изобрели способ концентрации любого из человеческих чувств,— своего рода сгущенное чувство. Так вот, если бы сконцентрировать в одной точке весь русский стыд наших лет, всю нашу боль и палящее сожаление об утраченном, вселенная обогатилась бы таким острым алмазом, который резал бы голубое стекло неба.

Что ж в сравнении с этим бешеным камнем — изменившая тебе даже два раза женщина, или друг, не заплативший по векселям хотя бы трижды? В мире так много прелестных женщин, даже кажется, будто их слишком уж много для одной жизни! Исправных должников, особенно в кругу друзей, правда меньше, но их, если хорошенько поискать, найдется не мало.

А жизнь одна. Сдуй на минуту архивную пыль сенатского решения или пудру Зизи и пойми: жизнь одна! Не двадцать, не миллион, а одна! Не комкай же ее, не проклинай, не рви!

Пусть сослужит радиояд медвежью услугу тому, чей дед был мудрым человеком, то есть любил то, что было ему дано небом. Внуки же клеветавших на жизнь нытиков должны ценить всякую жизнь, ибо всякая жизнь играет поистине Божьим огнем.

Не гаси же его, дорогой внук! бережно неси его до заката дней своих, не раздувая по жизненной жадности. Штудируя сенатское решение за 1963 год, не рвись за 1964: будь доволен Зизи! — Какая-нибудь Мими обманет тебя двадцать два раза. Не ной, не хныкай, не брюзжи, чтобы не очутиться у разбитого корыта, как твой вздорный дед. Не опрокидывай жизни вверх дном!

И не делай революции... Бог с ними!

АМЕРИКА, ГОД 1925-й...

С Маэль Фейнберг беседует Галина Медзмариашвили

Несколько лет тому назад, когда я собирала материал для своей книги очерков «Людям о людях», которая вышла в 1989 году в Тбилиси, я говорила с Маэль Фейнберг о ее работах, и вдруг разговор зашел об ее отце Исайи Яковлевиче Хургине, нашем первом председателе «Амторга», и о Маяковском, приехавшем в 1925 году в Америку. Я кратко тогда написала об этом.

Летом этого года впервые в Советский Союз приехала Патриция Томпсон — дочь Маяковского. Я была свидетелем их встреч с Маэль Исаевной. И мне захотелось продолжить с ней ту давнюю, недолгую нашу беседу.

Г. М.— Перед своим отъездом в Соединенные Штаты в июле этого года дочь Маяковского Патриция Томпсон на пресс-конференции в Музее Маяковского сказала, что встреча с вами, Маэль Исаевна, была для нее необычайно важной, и что если бы жизнь сложилась по-иному, вы росли бы как сестры.

М. Ф.— Да, вероятно, это было бы так. Ровно 66 лет тому назад 30 июля 1925 года Маяковский приехал к моему отцу в Нью-Йорк. Мой отец достал ему американскую визу. Ведь усилия Бурлюка не увенчались успехом, и поэт уже думал, что ему не придется побывать в Америке.

Г. М.— Маяковский и ваш отец были знакомы до Америки?

М. Ф.— Где-то встречались, но знакомы по-настоящему не были. По образованию отец был математик, астроном, но стихи Маяковского, конечно, знал. Он вообще знал и любил литературу. Очень следил за современной литературой. В его бумагах сохранился даже членский билет Московского Дома печати. Близким его другом был украинский поэт Василь Блакитный. Хорошо знал Михоэлса, художника Альтмана. Довженко рассказывал мне, с огромной непроходящей благодарностью, что отец очень помог ему в тяжелые для него годы. Но это особый рассказ. Об этих событиях жизни Александра Петровича не знают его биографы.

Внимательно отец следил и за художественной жизнью Америки, ездил в Голливуд и устроил приезд Мэри Пикфорд в Советский Союз, но приехала она уже после его смерти.

Для того, чтобы читать свою любимую книгу «Дон-Кихот» в подлиннике специально выучил испанский язык.

Эти его интересы были столь явными, что даже газета «Нейшен» специально отметила: «...его личные интересы простирались от теории Эйнштейна, до новейшей поэзии и до последних популярных песенок. Его интерес к новым исканиям в театре и кино был далеко не любительским. А незадолго до смерти он принял участие в превращении двух классических произведений литературы в произведения киноискусства».

Г. М.— А где жил Маяковский в Нью-Йорке?

М. Ф.— Отец снял ему квартиру на Пятой Авеню дом 3, где жил сам, этажом выше.

Г. М.— А дом этот сохранился?

М. Ф.— Нет, он был снесен еще в мае 1926 года. О чем есть заметка

в американской газете «Русский голос». В ней говорится о том, что сносится дом, в котором жили Маяковский и Хургин. Маяковскому отец снял квартиру на 4 этаже, а сам жил на 3-ем. Американист Мендельсон, навестивший в этом доме Маяковского, вспоминал, что это был аристократический дом, с портретами каких-то леди на стенах, с широкими маршами и очень просторный. Да и сейчас Пятая Авеню — улица дорогая. И как теперь говорят, «престижная».

Г. М.— Патриция вас спрашивала, какие американские адреса Маяковского вы еще знаете, кроме тех, какие известны ей со слов матери?

М. Ф.— Ну, я знаю адреса, связанные с отцом. Контора «Амторга» была на Бродвее 65. У меня было 2 любительских плохих снимка кабинета отца, где часто бывал Маяковский. Один из них я подарила Патриции.

И еще знаю, об этом писали, что Маяковский, когда отец погиб, много времени провел у его гроба в похоронном бюро, вернее, зале для прощания Кембелл — угол Бродвея и 66 улицы. Адреса же, где Маяковский выступал и где бывал, установлены, возможно, не все, по американским газетам, и Катанян в своей «Хронике жизни и деятельности Маяковского» и Кэмрад в книге «Маяковский в Америке» их приводят.

Г. М.— Вы были редактором книги Кэмрада?

М. Ф.— Да, и сделала, теперь об этом уже можно говорить, очень много для того, чтобы эта книга вышла в 1970 году в издательстве «Советский писатель». На эту книгу теперь всегда ссылаются, когда пишут о пребывании Маяковского в Америке. В ней должны были быть еще две главы — о дочке Маяковского и о моем отце. Я передала Кэмраду даже некоторые материалы из своего архива, но главы этой он, очевидно, так и не написал. А вот о Патриции, вернее, о дочери Маяковского, написал.

В 1973 году, по постановлению Секретариата Союза писателей книга должна была быть переиздана, но Кэмрад не представил книгу для переиздания. Он представил рукопись только в 1976 году и вместо 9 листов — 24. Это по существу была новая книга, большинство ее разделов не имели уже никакого отношения к Америке, хотя были интересны. В эту рукопись он включил и главу «Дочка». Мне казалось тогда, что можно было печатать эту главу и рассказать о знакомстве с Элли Джонс и о дочери Маяковского «спокойно и тактично». Ведь были сомнения, а хочет ли этого сама Элли Джонс, многие годы не дававшая о себе знать, и, как мы понимали, делавшая это сознательно. Но Кэмрад не стал работать над новой книгой. Я думала, что работа эта пропала, и была очень рада, когда услышала в музее Маяковского, в день рождения Маяковского, на котором была Патриция, только что приехавшая в Москву, что копия этой главы под названием «Дочка» подарена музею. (Кэмрад умер несколько лет назад.) Надеюсь, что скоро эти страницы будут опубликованы.

Г. М.— Значит, вы давно знали о существовании дочери Маяковского?

М. Ф.— Да, примерно с конца 40-х годов от Николая Асеева. Хотя он в своей поэме «Маяковский начинается» и писал:

Только ходят
слабенькие версийки,
слухов
Пыль дорожную крутя
будто — где-то
в дальней-дальней Мексике
от него затеряно дитя.

Но написал он неправду, а правду знал. Но в то время написать прямо, что у Маяковского в Америке растет дочь, казалось невероятным, почти кощунственным.

Г. М.— О вас Патриция Томпсон знала?

М. Ф.— Нет. Я написала ей письмо в прошлом году. Она сейчас же ответила мне, но от волнения, как она мне теперь рассказала, забыла написать номер дома, и письмо поэтому вернулось в Нью-Йорк. Но летом, незадолго до приезда Патриции в Москву, мне его привезли ее молодые друзья — Джозеф и Пол. В этом письме она писала, что с детства слышала фамилию Хургин, знала о его гибели, и что эта смерть повлияла на решение ее матери и на их жизнь.

Г. М.— Ваш отец утонул со Склянским на озере Лонг-Лейк под Нью-Йорком, катаясь на лодке во время бури?

М. Ф.— Да, официальная версия такова, но я теперь почти не сомневаюсь, что это было заранее спланированное убийство, замаскированное под несчастный случай, хотя, конечно, всякое бывает.

Г. М.— У вас есть доказательства?

М. Ф.— Вы знаете, есть и как бы прямые свидетельства. Так, например, Борис Бажанов в своей книге «Воспоминания бывшего секретаря Сталина», изданной сейчас у нас, а года два назад печатавшейся в отрывках и в «Огоньке», прямо пишет уже о том, что они с Мехлисом были твердо уверены, что Склянский утоплен по приказу Сталина, и что «несчастный случай» был организован Каннером и Ягодой. Бажанов многое путает. Но здесь он, очевидно, пишет правду.

Ведь в сущности, под «несчастный случай» была замаскирована и смерть Фрунзе на операционном столе через два месяца после смерти Склянского и отца. Причина, очевидно, одна — Склянский был заместителем Троцкого по Реввоенсовету. Фрунзе сменил Склянского в марте 1924 года. А Склянский был назначен директором Треста «Моссукно» и приехал в Америку в командировку, но на третий день погиб. Было известно, что Склянский не умеет плавать.

Читала я и русские газеты, выходящие тогда за границей. Помню шапку через всю полосу: «Советские представители были утоплены». Но больше всего меня убеждают косвенные доказательства. Я их собрала. Скажу лишь о немногих. В наших газетах, много писавших о их гибели, всюду подчеркивалось, что была буря на озере. Но вот в американских газетах, исключая русскоязычные, лишь в одной было написано, что «поднялся ветер». Но ведь этот ветер не помешал какой-то лодке оказаться около них, когда рука одного высунулась из воды, но люди, сидевшие в лодке, не приняли мер к их спасению. Об этом есть письменное свидетельство.

Мне говорила моя мать, что их лодку перевернул не ветер, а моторная лодка, которая потом скрылась.

И слишком были пышные похороны. Специальные комиссии, выезжающие встречать урны. Рижский (а тогда Виндавский) вокзал, задрапированный в черные и красные полотнища. Военные оркестры. На кладбище военный салют. Урны несли на руках от вокзала до Новодевичьего кладбища. Сохранились снимки, сделанные на Театральной площади с крыши «Метрополя». Море людей. Все правительство. Кроме Сталина. Он демонстративно не явился. Показал свое отношение к Склянскому. По словам Бажанова, Сталин ненавидел Склянского. Думаю, что отец был ему безразличен. И еще одно. Из некролога, напи-

санного Н. Осинским и присланным из Америки, где он тогда был, и напечатанного в «Правде», был снят абзац, начинающийся словами: «Я не знаю и, может быть, никто не узнает, как и почему погиб Хургин»,— хотя дальше Осинский говорил о другом. Полный машинописный текст некролога Осинский подарил моей матери, и он сохранился в моем архиве.

Г. М.— Маяковский, и об этом уже писали, а на пресс-конференции говорила и Патриция Томпсон — Елена Владимировна, как теперь она себя называет, очень тяжело пережил гибель вашего отца, впал в депрессию.

М. Ф.— Да, он был потрясен. Все дни не отходил от гроба. Выступил на гражданской панихиде, о чем только недавно стало известно из газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн». (Об этом написал Григорий Хаит в очерке об отце в «Огоньке».) К сожалению, газета только сообщила об этом, но не привела текста. Провожал урны на советский теплоход 8 сентября. И только 10-го возобновил свои публичные выступления. Смерть отца что-то изменила и в его планах, о чем свидетельствует телеграмма Лиле Брик: «...Несчастье Хургиным изменило визные деловые планы...» Это не только невозможность достать визу для Лили Брик, которая очень хотела приехать в Америку. Но что-то еще. И вот после всего, ни одного слова об отце, о его гибели, по приезде в Советский Союз. А по словам Лили Брик, которые она мне сказала в 1975 году, «Володя его очень, очень любил».

Это молчание красноречивее слов.

Маяковский знал правду, знал, что смерть эта не случайна. Патриция мне сказала, что и ее мать, вспоминая моего отца, всегда говорила, что он был убит. Писать очевидную неправду не хотел. Об этом совершенно справедливо написал Валентин Скорятин в своей статье «Прозрение», напечатанной в июне этого года в «Журналисте».

Г. М.— А где во время пребывания Маяковского в Америке была ваша мать, которая ведь тоже работала в «Амторге»?

М. Ф.— Моя мать, Карола Иосифовна Бассехес, в это время была в Советском Союзе, где я и родилась. Она должна была в конце февраля со мной выехать в Берлин, где отец нас ждал, и дальше с отцом снова ехать в Америку, но я заболела, и мы никуда не поехали. Отец уехал один. И через полгода, 27 августа, погиб. Ему было 38 лет, а Склянскому — 33.

Г. М.— Он долго проработал в Америке?

М. Ф.— Больше двух лет. Отец приехал в Америку в середине 1923 года с долгосрочной визой, как директор Американского отделения «Дерутры» — русско-германского транспортного общества. Ему очень помог, как писали потом американские газеты, Гарриман. Я не знаю, был ли это будущий посол Америки в СССР Аварелл Гарриман, или его отец, имевший давние деловые связи с нами, или еще кто-нибудь из этой семьи. Это нужно еще выяснить. Отец увидел, что те две фирмы, которые ведут кое-как торговлю — «Продэкско» и отделение «Аркоса» — не справляются со своими задачами, и обратился в январе 1924 года с письмом к Красину — народному комиссару внешней торговли — с предложением создать акционерное общество. Название «Амторг» — дал также отец. В мае 1924 года «Амторг» был зарегистрирован в штате Нью-Йорк. И очень успешно начал свою деятельность. Достаточно сказать, что за один год с капитала в 1 миллион долларов обороты «Амторга» достигли 50 миллионов. А по тем временам это

были довольно большие деньги. Очень многое из того, что мы теперь начинаем делать, отец начал уже 65 лет назад.

Г. М.— А как американские бизнесмены отнеслись к деятельности «Амторга». И к вашему отцу, ведь у Советского Союза еще очень долго не было дипломатических отношений с Америкой.

М. Ф.— Но торговать с нами Америка хотела. Вот вырезки из американских газет. Когда отец погиб, о нем писали все американские газеты. Достаточно сказать, что «Нью-Йорк таймс» вынесла в заголовок слова: «В лице Хургина Советы потеряли высокоталантливого представителя». А статья-некролог начиналась словами: «Мало кто из американцев, ознакомившись с подробностями гибели двух советских лидеров в Лонг-Лейк 28 августа (27.— М. Ф.), знают о том, каким замечательным человеком был Исай Хургин. Финансисты с Уолл-стрит, которые имели деловые отношения с мистером Хургиным как с председателем «Амторга», Бродвей 165, не раз поражались огромным способностям и быстроте понимания этого хрупкого человека с седеющей бородкой».

А газета деловых кругов «Нейшен», которую нельзя было заподозрить ни в симпатиях к Советскому Союзу, ни в желании говорить комплименты, писала: «Хургин был любящим жизнь, живым, умным, проницательным, ироничным человеком. Очень не многие из американских бизнесменов, с которыми ему приходилось иметь дело, могли сравниться с ним в деловитости и организаторских способностях». А в «Нью-Йорк таймс» было особо отмечено то чувство достоинства, с каким отец вел в Америке очень трудные деловые переговоры: «В разговорах с американскими бизнесменами он был прост и ироничен. Каждый его жест отличался изяществом. Его воспитанность вошла в поговорку». Писали много и об его личных качествах. Я говорю об этом довольно подробно еще и потому, что это важно знать и для будущей полной, настоящей биографии Маяковского, что за человек был мой отец, знакомивший поэта с Америкой, и пользовавшийся его полным доверием. Ведь отцу он сказал и о своих отношениях с Элли Джонс.

Г. М.— У вас есть письма отца из Америки?

М. Ф.— Есть, но их не так много. Большой ящик писем забрали во время обыска, когда 13 ноября 1937 года арестовали мою мать. Там было очень много писем, связанных с Маяковским. Отец писал матери два раза в день, подробно рассказывая где они были с Маяковским, что он говорит и т. д. Помню как меня, девочку, поразило одно письмо, в котором отец писал: «Так говорит Володя, который сейчас в соседней комнате...» Мне тогда казалось, что Маяковского только «проходят» в школах. Мы лишились таким образом хроники пребывания Маяковского в Америке за первые 3 недели.

Так же погибла и кинолента, снятая в Америке во время церемонии отправки урны с прахом в Советский Союз, 8 сентября 1925 года. Там было много кадров с Маяковским. Мы говорили об этом с Василем Абгаровичем Катаняном. По его просьбе Жорж Садуль — известный историк кино — искал эту ленту в кинохранилищах мира, но, к сожалению, безуспешно. Но я надеюсь, а вдруг не все уничтожено, и мы сможем что-то найти.

Г. М.— Нужно обратиться к Вадиму Викторовичу Бакатину, ведь архивы сейчас будут открыты.

М. Ф.— Да, это, конечно, нужно сделать. А вдруг и найдем хоть что-нибудь.

Г. М.— А какие материалы есть в вашем архиве, как-то связанные с Маяковским?

М. Ф.— Только воспоминания моей матери и записи ее рассказов.

К моему сожалению, я не расспросила Соню Тальми, которая работала в «Амторге», а ведь у нее дома бывал Маяковский. Она была, по-моему, единственная, кроме моей матери, которая вернулась из лагеря, ведь почти все сотрудники «Амторга» были расстреляны. Я знала ее, она поддерживала дружеские отношения с моей матерью. Но в конце жизни вернулась навсегда в Америку. Хорошо, что Кэмрад увиделся с ней и записал ее рассказ. Но она ему рассказала слишком мало.

По существу, о пребывании Маяковского в Америке мы недостаточно знаем. И я думаю, что те месяцы, которые Маяковский провел в Америке, были для него очень важными и радостными и очень тяжелыми, изменившими в чем-то его внутреннюю жизнь. И в первую очередь, это встреча с Элли Джонс и рождение дочери. И конечно, гибель моего отца, которую он так тяжело воспринял, потому что впервые увидел, что для тех служб, где у него были и личные друзья, вроде Агранова, нет расстояний. И невозможность об этом рассказать.

Г. М.— Вы надеетесь, что когда опубликуют воспоминания Элли Джонс, мы узнаем что-то новое о Маяковском?

М. Ф.— Да, надеюсь. Я думаю, что из них мы узнаем правду о пребывании Маяковского в Америке, и это очень важно. Правдой, конечно, являются и стихи, но это не вся правда. Его душевное состояние выражено в них не так полно, ведь Маяковский в это время был уже под гнетом жесткой внутренней цензуры.

Г. М.— Мне кажется, что с приездом Патриции Томпсон многие как-то по-иному восприняли Маяковского.

М. Ф.— Конечно. Ведь это какое-то новое чувство. Ведь оказывается, что у Маяковского другая биография. И многим нужно привыкнуть, что есть дочь, разительно на него похожая, но выросшая в другой стране, с другим языком, и есть внук. И все так поздно о них узнали. А я хоть и знала о существовании дочери, но это было какое-то абстрактное знание. И я просто очень рада встрече с Патрицией и Роджером. Мне это важно, они мне не чужие.

ОТКУДА МЫ

Юрий Власов

ТЕРРОР — ВЕЛИЧИНА АБСОЛЮТНАЯ*

Каплан взаправду была «истреблена» Павлом Дмитриевичем Мальковым. Погодите ухмыляться на «истреблена». Уверяю вас, это не промашка в стиле, это только стремление возможно ближе передать дух событий.

Поэт Демьян Бедный за заслуги в классово-изящной словесности был удостоен «жилплощади» в Кремле (лапотная Русь таки распевала его частушки). Слов нет, в Кремле и сохранней, и сытней, и дровишки подвозят березовые — нет нужды лаяться из-за каждой вязанки: суй в печь сколь душе угодно (таким запомнил Демьяна Бедного Шаляпин, навестивший баловня муз в его кремлевской квартире).

И не без расчета эта забота. Гляди, в благодарность и новыми частушками двинет поэт советскую власть в массы (и двигал, да еще как!). Тут важно каждый вершок пространства отвоевывать у паразитирующих классов: что в душе, что на суше и на море. Классовые бои и столкновения, но уже в литературе и через литературу — это Ленин вдолбит пишущей братии (и ЧеКа тут в помощниках): и заскрежещет... не то зубами, не то перьями.

У меня в библиотеке хранится поэма Демьяна Бедного («Диво дивное и другие сказки», Петроград, 1916) с автографом — привет из тех дней: там пророком ходил Ленин, каждое слово впору чеканить монетой, народы глаз с него не спускали: выше отца, матери! Божище! Рукой поэта на обратной стороне титула четко, красиво выписано: «Сестре своей сестры». 19.IV.16. Е. А. П.».

Е. А. П. — родовое имя Демьяна Бедного: Ефим Алексеевич Придворов (1883—1945). Как видим, не надолго хватило Ефима Алексеевича. А ведь до смерти Маяковского он почти официально числился первым красным поэтом России. И никто сие не оспаривал.

На задней обложке книги (снаружи) крупно напечатано: «Все заказы, письма, рукописи и пр. по делам склада и издательства «Жизнь и Знание» просят адресовать... Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Петроград. Фонтанка, д. 38, кв. 19».

Да, да, там обитал будущий управделами Совнаркома и преданный доноситель ВЧК—МГБ: писал и Ягоде, и Ежову, и Берии. А ведь в партии состоял с 1896 года — таких и насчитывалось-то несколько десятков. За народ и справедливость пошел с Лениным...

Да, та самая квартирка. Отсюда в Швейцарию окольными путями летели к вождю секретные документы брата-генерала о боевых делах. Напряженной жизнью жил Владимир Дмитриевич.

Это верно: царя ненавидели прежде всего образованные слои русского общества, самая что ни на есть интеллигентнейшая часть.

Странная это прищлепка к народу — интеллигенция. Ненавидела царя — все сделала (аж посинела), дабы помочь ему добраться до ипатьевского особнячка. Новая власть — а она и ее не приняла. Так и легла поперек дороги.

И вечно ей все не так. И к Богу зовет, а сама не верит.

Демьян Бедный, несмотря на нестерпимо голодный быт, радовал ответственных партийцев двумя подбородками и тугим животом навыкат, и вообще задушевно-свойским нравом. Один пришелец из того хищного антивремени рассказывал мне, кутаясь в кофту и покашливая в платок (помаленьку догорал в ознобах лагерного туберкулеза. Сам проворно махонький, ну былиночка, а глаза ясные, серые, с этакой пронизывающей зоркостью. Двужильный был, ему бы на диване под пледом, а он раненым волком по Москве: искал, находил и читал десятки книг. Сводил сотни записей — все добивался понимания того, что случилось. А я взять в толк не мог, как вынес Иван Васильевич (так его звали) то, отчего я околел бы в первые же недели. Да что там недели — часы! А ведь вынес, а сам с ноготок, голос окающий).

Так вот, кутаясь в кофту и покашливая в платок, рассказывал мне Иван Васильевич, как столкнулся из-за места в поезде — срочно надо в Москву, а нет вершочка свободного места: состав битком, аж хруст

* Фрагмент романа-исповеди «Огненный крест», не вошедший в изданную книгу.

в костях, и вша на всех общая. Имелся, правда, пустой классный вагон с занавесочками, но им распоряжался революционный поэт Демьян Бедный. Так что, почитай, наркомовский вагон — туды и не суйся. Иван Васильевич был одним из первых комсомольцев Самары, из сирот. И махонький-то — от недокорма, по людскому милосердию жил и не помер.

Ваня принялся ломиться к Бедному в дверь, ломится и совестит:

— Какой же ты Бедный! Ты толстобрюхий буржуй, в тебе ни на грош трудовой сознательности! А ну пусти!.. Что ж ты, гад, молчишь?! Тебя к стенке пора, контра недобитая!

После они благополучно помирились. Как шутил Иван Васильевич, «на платформе признания советской власти и диктатуры пролетариата». Их знакомство переросло в дружбу, когда бывший самарский комсомолец «возглавил» один из степных губкомов, а после и в наркомы возвысился, даже Сталин его на доклады вызывал. Как после строил догадки Иван Васильевич,— прицеливался: стоит дальше двигать или пустить на удобрения.

Легендарный срок одолел этот тщедушный сирота. Поначалу чекисты крушили ему кости (нет, не в литературном, а в прямом смысле — руку сломали, пальцы, перебили стопу), урки топили башкой в параше с нечистотами (аж рвало потом неделю), а не признается, гад! Вел дело некто... Чирков. За пытки и «дела» Героя Советского Союза огреб. И все едино: не признался ни в чем Иван Васильевич. И война с Гитлером отшумела, и тридцать миллионов легли в землю, а с ними еще несколько миллионов зэков и просто голодных крестьян по деревням и поселкам, и сам Придворов преставился, а Иван Васильевич все кочевал из лагеря в лагерь... А потом освободили! Иван Васильевич отлежался — и за работу. Снял-таки Золотую Звезду с генерала Чиркова. Аж все невозможные инстанции прожег ненавистью к мучителю — и добился... за всех старался. Чтобы Героя получить... это ж сколько народу надо было сгубить! И многим палачам еще испортил крови этот махонький человек с глубинно-серыми глазами. Далеко из впадин глядели. Пытливые и беспощадные в одно и то же время, но больше с огромной обидой за обман и надругательства. А ну-ка, вороти жизнь?!. Что ж вы там расписали в Женеве? Ну за что?!

...В тот достопамятный сентябрьский вечер восемнадцатого Демьян Бедный, находясь на своей законной кремлевской жилплощади, услыхал перегазовку сразу нескольких моторов. Природная осторожность и избыток сил, даваемый, хоть и не жирным, но постоянным наркомовским пайком, вытолкнули его на двор — точнее мелкоровную кремлевскую брусчатку. Не плутая, двинул на рокот. Вскорости приметил, а уж поближе и узнал Пашу Малькова, пожал руку и спросил, кивнув на грузовики:

— Уже переезжаем?

И даже не догадался, сколь близко оказался к истине. Переезжали и впрямь, но только одна... Каплан. В другой мир, от которого поэт и все жизнелюбивые граждане держатся подальше из самых последних сил, даже когда данных сил не имеется, пусть даже самых нутряных — ну нет вообще!

Каплан?!

Поэт из революционных, свой, «братишечка» Мальков и дал разъяснения. Наружность боевая: бескозырка на брови, под бушлатом маузер, тельник даже по сумеркам полосы чертит. Тут Демьян Бедный и узрел окончательно Каплан. Она!!! Ишь, сгорбилась, сучонка!.. И на вирши мысль, сама рифму ищет. Поэт!

А на ней и лица нет — серая маска. Сама безгласная, в ноги себе смотрит. Только иногда голову вскинет, вздохнет и опять, опять под ноги смотрит. А тощая — одни кости! Чует, падла: кранты ей, однако не пищит, фасон выдерживает. Ждет, одним словом. А может, и не знает, что под машины расстреливают, оттого такая спокойная?.. Ну, ну...

Тут надо объяснить: вопрос поэта об отъезде не являлся праздным. А вдруг уносить ноги? Контра с востока в нескольких сотнях верст, может, чуток дальше. Обстановка — не прозевать общий отъезд. Имел место такой разговор. Не исключала партия эвакуацию и отступление...

А тут шоферня и поддала предельные обороты, хотя команды не было. Верно, прежде договорились, а может, усвоили порядок. Чай, не на первой операции. С Дзержинским не заскучаешь. На корню вытравляет контру.

Партийный стаж у Павла Дмитриевича Малькова — с 1904 года, это, я вам скажу, не хрен собачий! Это — убеждение, это уже готовность за партию на все, это значит за Бога — Ленин, а тут... Каплан!..

Двигатели ревут, аж воронье небо застит, кресты соборов не различишь. А Паша этак ловко, быстро и сноровисто пальнул. Каплан села и потом медленно бочком на землю, ровно куль. Паша шагнул и для верности еще — в грудь. А Каплан и не дернулась. Враз жизнь ушла, на конвульсии и духа не осталось. Всё, дохлая!

Паша машет бескозыркой. И грузовик за грузовиком. Смолкли: а на кой ляд моторами Владимира Ильича беспокоить? Он тут, чай, не за версту — совсем рядышком за жизнь борется — всё эта... подлая тварь! Сами шофера и не лезут из-за баранок: народ, видать, привычный к такой работе.

А тишина! Одни вороны галдят — так то в небе, а здесь тишина. Охрана Пашей предупреждена — ни один не явился. В комендантах ведь Павел Дмитриевич Мальков. Его слово — закон. Сам Дзержинский на равных беседует: вроде подчиненный и не подчиненный: при Ленине матрос. У вождя на каждого сотрудника память. Без разрешения и не тронь. Вмиг звонок...

Однако самое «поэтическое» еще впереди. Паша свистнул — шофер из ближнего грузовика к нему. Вдвоем и поволокли. Быстрее бы! Само собой, сторонятся крови. А крови-то и не шибко, будто загустела и не текла в жилах у Каплан. Но и то верно: подгадал Мальков, стояла она на краешке, где вместо брусчатки газон — ну лопухи по колено. Помахать лопаткой — и нет следов. Чистая польза для растений.

Грузовики стоят, и шоферня — каждый на своем месте. Сразу видать, каждую ночь заняты. Имеют понятие.

А уж и ночь, ну еще немножко — и в непрогляд.

Паша укромное местечко еще до этого присмотрел. Уверенно шагают (скорее всего, за Иваном Великим, где скат к Москве-реке). Волосы у Каплан по траве метут. Отрастила патлы.

Ничего не спрашивая, к ним и присоединился поэт (да какой это поэт — кузнец всеобщего счастья, такой же пролетарий... только пера): пособлял тащить или нет — история умалчивает. Для всех троих эта эсерка была гадиной, нечистью. Паша по ходу пояснил: контрреволюционерку надобно без промедления сжечь. На Мундыча не ссылался, но видно, тот дал «вводную». Не мог не опасаться председатель ВЧК (так сказать, прародитель Берии, Андропова, Крючкова) враждебных выступлений при известии о казни Каплан, тем паче на месте погребения или сожжения. Надо, чтоб никто не прознал. Секретная операция!

А ее?.. Ее чтоб вообще не осталось — ну не было такой особы. Требовалась для партии дематериализация этой чрезвычайно вредной террористки: на вождя с браунингом!..

Крыли ее, надо полагать, и Паша, и шофер почем зря, по-балтийски. Аж сам сапог задирался: пнуть бы!..

Жечь так жечь (в восемнадцатом году жгли непрерывно: сперва царя с семьей, после — его брата и синодальную комиссию — сверхогнеопасный выдался год). Другой шофер без всякой команды подогнал грузовик — в аккурат по траве. Скатили бочку с соляркой. Озаботились еще до операции: должна эта сучка распасться на угли. И всей компанией взялись за огонь: солярка — ведро за ведром. Полыхает, падла! Солярка вонючая — и не унюхаешь жареного мяса. Горит огонь сам по себе. Сперва одежда сгорела. Лежит баба, как есть, голая. Тут же волосы в разных местах запалились, а после и сама чернеть стала. А сажи!.. Да за Ильича и вообще за революционный люд их всех без разбора жечь! Через очистительное пламя берет разгон революция...

Пуще ярится костер. Видно его из Замоскворечья, а никто не догадывается, что к чему. Далече сигналит. Сентябрьская ночь темна.

У пролетарского поэта нервы не пушкинские — такие дела... да, как говорится, пару чая! Сознает поэт Придворов: почетное это задание, а не просто солярка и дохлая баба. Ворочают ее лопатой, чтоб ровно со всех сторон прогорала, и дивятся: до чего легкая! И мяса не было, одни мослы. И тужиться не приходится, сама перевертывается. А туда же — на вождя с браунингом!

И материли — аж Иван Великий выше стал, в самые ночные облака уперся. Там совсем близко к звездам.

Эх, не было Семена Григорьевича Чудновского. Большая отлепилась бы от него душевная боль и вина — проморгал врага, слюни распустил!.. А ну, Сема, еще ведерко! Эх, если бы!..

Вряд ли Каплан спалили до углей. Это слишком долго, а раз долго — уже несекретно. Поди, так и предупреждал Мундыч. Чтоб не светить слишком долго — надо проворней, а как? Она же, курва, не из дерева. Сколько не лей солярки, а покуда не высушит — не берет жар. Увезти? В кузов этот обгорелый остов, чертову куклу? Да перемажет там! И вопрос — где копать яму по ночи? Дело секретное, никто не должен знать. Это приказ революции! И объявлять не надо — сами понимают. В общем, испеклась баба. Пора.

Посему, надо полагать, упрятали то, что осталось от Каплан, в Кремле. Там она и лежит, сердешная, совсем недалече от своей мавзолейной жертвы: больше ей деться некуда. Там она — и не секрет это нынче...

А кто тут жертва — еще вопрос...

И Ленина помнят люди, и Каплан не забыли.

Ленин был социал-демократом крайнего толка, Каплан — правой социалисткой-революционеркой. Обе ветви этих философско-политических систем брали начало от одного ствола — марксизма. И выходит, не террор, а наука и соединила их в одно (помните, как каждая из сторон еще в Женеве присваивала себе право на единоличное толкование марксизма?). А террор — величина абсолютная. Ему без разницы, в какую сторону действовать: влево или вправо. Против своих — тоже не противоречит сущности их миропонимания. Для них — вне жизни все, кто с ними не согласен. Террор тут как тут: и разом всё и всех приводит к соответствию. Великая уравнительная система.

Евгений Рейн

АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ

* * *

**«Все перепуталось и нечего сказать...»
И подступаешь с плагиата...
Никто не выручит и некого позвать,
И мыкаешься виновато.**

**В чужом, исхоженном, затрепанном лесу,
Ничуть не развлекаясь Дантом,
Все вытерплю, и только не снесу
Свидания с прохожим музыкантом.**

**Вот он насвистывал, а я шипел в кулак,
Вот он приветствовал, а я учил вопросы.
Я жил обидою, он выжил просто так —
И что теперь постылые угрозы.**

**Все перепуталось — и он, и я, и мы,
Какая встреча на поляне хлипкой!
Забытый маховик оттаявшей зимы,
Двоюродный сосед с отравленной улыбкой!**

**Нам нечего делить — и так одно на всех
Молчанье, и одна корявая шифровка.
Будь проклят мой угар, будь проклят твой успех,
И вместо жизни переподготовка.**

**Давай сознаемся и повернем назад,
Подкинем вместе детские качели,
И все начнем, как надо, наугад.
Все перепуталось... мы оба не успели.**

* * *

**В Ресторане Чванова
Комплексный обед,
Жизнь ушла нечаянно,
Этой жизни нет.
Лишь за Петроградскою —
Полоса утрат,
Лентой светло-красною
Перевит закат.
Погляди-ка в дымное
Старое стекло,
Стужей время зимнее
Нас не обнесло.**

Новая сумятица,
Мука и разлад,
В темноте косматится
Облетевший сад.
Было или не было,
Но могло бы быть...
Нам придется набело
Это обновить.
До начала сумерек
Покидаем зал.
Потому что имярек
это предсказал.

* * *

Л. Л.

Теперь, когда лишь типографский шрифт
нас вызывает, как спирит заядлый,
в стасованной колоде правд и кривд
какой же туз не оказался падлой!

Другое дело Фрунзенский район,
та жизнь между Фонтанкой и Обводным.
Что ж, свет широк, но с четырех сторон
и он закрыт проклятьем первородным.

Широк-то он широк, да не велик,
и потому я повторю упрямо:
«Все игроки международных лиг
не стоят ленинградского «Динамо».

Все кончено. А то, что впереди,
я полагаю, будет шито-крыто.
Недаром в Техноложку по пути
я высмотрел Великого Спирита *.

И вот судьба — весь век бубнить, бубнить,
петрушкой стать развязной и усердной,
чтоб медиум, водя тебя за нить,
таскал слова из немоты предсмертной.

* Памятник Д. И. Менделееву у Палаты мер и весов в Санкт-Петербурге.

ПО ШПАЛАМ

Поздним августом, ранним утром,
Перестуки, гудки, свистки.
На балтийском рассвете мутном
то, что прожито, бьет в виски.
Деревянный дом у вокзала,
тьма заброшенных фонарей,
Тут вот молодость разбросала
лапу, полную козырей.
Вот и кончились три десятка
самых главных моих годков,
до копеечки, без оглядки...
Ты так думаешь! Я готов
здесь остаться в глухих завалах,
точно выполнив твой завет,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит рассвет.
Атлантической солью дует
ветер Балтики и тоски,
на перроне меня целует,
словно у гробовой доски.
Только Оливисте * в тумане
пробивается в небеса,
ничего не скажу заране
лишь послушаю голоса
перестуков, гудков, сигналов,
где-то катит и мой вагон,
и на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит огонь.
Я был молод, и ты был молод,
Старый Томас, я старый пес.
О, какой на рассвете холод,
этот август почти мороз.
Здесь под зюйдом моя регата
разбивала волну о киль,
это было тогда, когда-то
и ушло за полтыщи миль.
И пришла, наконец, минута
ноль в остатке, бывай, прощай,
только все-таки почему-то
я скажу тебе невзначай.
«Где-то там намекни, явись мне
в страшном августе в полусне,
раньше смерти, но выше жизни
брось поживу моей блесне.
Золотою форелью первой
и последней и здесь беда...
Бледной немочью, черной стервой
падай в Балтику навсегда.
Но не трогай стигматов алых,
все иное — пустой клочок,
ведь на этих прогнивших шпалах
изумрудный горит зрачок».

* Собор в Таллинне.

АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ

Ангел мой, истребитель,
через десять минут наш полет.
Кто-то свой проявитель
на небесную пленку прольет.

В нидерландской короне
из канала глядел ты туда,
где доныне в глухой обороне —
наша истина, наша беда.

Вот моторы готовы,
на турбинах горит керосин,
пронеси меня над Комарово
и спикируй над ним, господин.

Там на кладбище малом,
там, где Анна, Володя, Илья.
за другим перевалом
должен быть похоронен и я.

Но покуда, покуда
я не кончил большого труда,
то ни Понтий, ни даже Иуда,
мне, увы, не опасны, о да.

Ангел мой, истребитель,
мой растлитель, товарищ, двойник,
ты письмо, это я — отправитель,
и поэтому так я приник

к этим крыльям и этой кабине,
и так дико ору в шлемофон,
в небесах на своей половине
я как ты, и к тому же грифон.

Потому что однажды
я, дружок, оторвусь от тебя,
и над Андами жажды
атакую, тебя истребя.

Твой пробью алюминий,
перебью неизбежный полет,
на моей половине
это тоже запишут в зачет.

Словно летчик Гастелло,
ты падешь на проклятый земшар,
выше духа и дела —
истребление, гибель, пожар.

Вадим Перельмутер

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Мемуарный очерк о Сигизмунде Доминиковиче Кржижановском (1887—1950) А. Л. Арго назвал «Альбатрос». Младшему современнику писателя пришел на ум именно этот, самый обрусевший из бодлеровских образов (если судить хотя бы по числу переводов хрестоматийного стихотворения). Сравнение напрашивалось:

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилья,
Пока он — в небесах, витает в бурной мгле,
Но исполинские, невидимые крылья
В толпе ему ходить мешают по земле...

*Неестественно-вольный в творчестве, Кржижановский так и не сумел приспособиться к «земным условиям», остался неиздан и непризнан (его книги выходят только теперь — «Воспоминания о будущем». М., 1989; «Возвращение Мюнхгаузена». Л., 1990 *); высоко ценимый «мыслящим меньшинством», он был беспомощен перед диктатом невежественной толпы.*

Единственное соприкосновение этого самого безвестного писателя с самым известным, Горьким, выглядят всего лишь эпизодом, не более того. Однако история по-своему переставляет акценты. И едва заметный частный случай оказывается точкой пересечения силовых линий эпохи.

С начальных лет советской власти, да что там лет — месяцев, новые хозяева страны звериным инстинктом самосохранения уловили опасность, исходящую от деятелей культуры, гуманитариев (иначе — какого дьявола было вынуждать их к отъезду за границу, а то высылать насильно целыми сотнями, ведь не заговоров же, в самом деле, страшились!). В самой природе этих людей, внутренне свободных — по определению, по принадлежности к мыслящему меньшинству,— таилась угроза основе основ тоталитаризма: монополии на сознание всех и каждого жителя государства. Мирное сосуществование «блюстителей дум» с «властителями дум» невозможно. Писатели, философы, историки убийственно легко и внятно разгримировывали демагогические словоизвержения коммунистических идеологов, рассчитанные на массовое гипнотическое действие. У них к этому гипнозу был стойкий иммунитет; найти ответ на сакраментальный вопрос: «Кому выгодно?» — не составляло труда.

Воинственные марксисты-материалисты, в сущности, были вульгарными мистиками, спиритами, вознамерившимися материализовать «бродячий призрак коммунизма» — и натурализовать его «в одной отдельно взятой стране». Великая эта цель заведомо оправдывала любые средства, впрочем, не оригинальные: ничего нового тирания не изобрела с незапамятных времен и изобрести не может, потому что не способна на творческое усилие — только на волевые, силовые действия. На беспощадное подавление инакомыслия, то бишь мышления как такового, которое всегда — «инакое». На введение безраздельного государственного крепостного права на любого гражданина страны, или как там вернее

* Два рассказа С. Кржижановского были напечатаны в «Горизонте» № 9 за этот год.

его назвать, быть может, вслед Кржижановскому «эксом», экс-человеком. Достаточно сказать, что уже на нашей памяти было официально и публично заявлено, что попытка писателя своевольно, без дозволения свыше, печататься за границей будет расцениваться как нарушение государственной монополии (sic!) на внешнюю торговлю — с привлечением ослушника к уголовной ответственности.

Писатель в услужении у государства — раб. «Человек, продавший свою голову, продает и свободу,— говорит персонаж трагикомедии Сигизмунда Кржижановского «Тот третий».— Беглый раб, как определяют наши юристы, есть лишь вещь, укравшая себя самое.»

В этих условиях популярность Кржижановского в столичных литературных кружках и салонах становилась небезопасной. Вкупе с неизданностью она выглядела как нечто нелегальное, чуть ли не подпольное. И это тревожило его друзей. Но и самым влиятельным из них — сотруднику бухаринских «Известий» и каменевского издательства «Academia» Михаилу Левидову, обладателю громкого революционного прошлого Сергею Мстиславскому, блестящему историку литературы и переводчику классики, в частности, для горьковской «Всемирной литературы» Евгению Ланну, знаменитому драматургу Владимиру Волькенштейну — помочь ему никак не удавалось. Эпизодические публикации в периодике ничего не решали. Чтобы «узаконить» положение Кржижановского в литературе (и, стало быть, «в обществе»), полагали они, непременно нужна книга. И тут требовался авторитет непререкаемый, абсолютный, признанный Лучшим Другом Писателей. Тем более, что лично против Кржижановского был решительно настроен всевластный первый «комиссар от литературы», глава цензурного комитета, удостоенный впоследствии — за многолетние особые заслуги в деле удушения культуры — академического кресла П. И. Лебедев-Полянский. Преодолеть подобную преграду было под силу разве что Горькому.

В 1932 году Ланн — через Георгия Шторма — передал Горькому несколько вещей Кржижановского. В расчете на то, что Горький, в сердцах назвавший происходящее в советской литературе «борьбой за право писать плохо», захочет — и сумеет — поддержать автора, безусловно владеющего искусством писать хорошо. Отзыв великого пролетарского писателя заслуживает полного воспроизведения.

«Мудрости эллинская не текох» (то есть «за мудростью эллинской не ходил» — обычная в древне-русской литературе формула демонстративного авторского самоуничижения, в которой скрыто горделивое предпочтение истины Священного Писания языческой эллинской науке, иначе говоря, смирения паче гордости.— В. П.) — я не могу рассматривать иронические сочинения гр. Кржижановского со стороны их философской ценности, но мне кажется, что они достаточно интересны и, вероятно, имели бы хороший успех в 80-х годах XIX столетия. В те годы празднословие среди интеллектуалов было в моде, и дружеские споры вокруг самовара на темы достоверности или недостоверности наших знаний о мире служили весьма любимым развлечением. Позитивисты из семинаристов утверждали познавательную силу разума, люди более осторожные жаловались на неясность построений гносеологии, бойкие ребята, торопясь вкусить от радостей бытия, орудовали Пирроном, облекая в приличные формы простую обывательскую мысль: «А ну ее ко всем чертям, философию! Жить надо». И все были более или менее довольны друг другом.

Мне кажется, что в наши трагические дни, когда весь мир живет в предчувствии неизбежной и великой катастрофы, лукавое празднословие — неуместно, даже и в том случае, если оно искренно. Большинству человечества — не до философии, как бы она ни излагалась: лирически, сатирически или же — по принятому обыкновению — скучно и туманно. В наши дни как будто бы создается иная гносеология, основанная на деянии, а не на созерцании, на фактах, а не на словах. Поэтому я думаю, что сочинения гр. Кржижановского едва ли найдут издателя. А если и найдут такового, то всеконечно вывихнут некоторые молодые мозги, а сие последнее — нужно ли?»

(17 августа 1932)

Пятьдесят лет спустя, в попытках опубликовать Кржижановского обивая пороги редакций, я наткнулся в одной из них на человека — из начальников,— который сразу, не читая, сказал, что печатать автора, о котором неодобрительно отзывался сам Горький, он, конечно, не будет. Кажется, это — единственное прямое следствие письма: эпистолярное «ружье» выстрелило, когда пьеса уже давно была отыграна...

В «подтексте» горьковского послания — по обыкновению тех лет — содержится больше соображений, чем в тексте. Поэтому необходимый нынешнему читателю комментарий неизбежно должен быть пространнее самого письма. Но сперва поясню, что среди читанного Горьким были и «Возвращение Мюнхгаузена», отлученное от печати за, мягко говоря, неуважительное отношение к советской действительности, и новелла «В зрачке», тонко раскрывающая «анатомию любви», и «Неукушенный локоть», где с хроникерскою бесстрастностью демонстрируется механизм того, как идея — пусть совершенно бредовая! — становится материальной силою, потому что овладевает массами. Так что тщетно скрываемое за вежливыми формулами и мемуарным экзерсисом раздражение Горького вызвано вовсе не философической отвлеченностью сочинений Кржижановского.

Писать про «непонимание» Горьким того или иного явления современной ему литературы — и вообще происходившего,— по-моему, пустая трата слов и бумаги. На эту тему в наши дни не высказывается разве что паралитик, к тому же ленивый. И совершенно напрасно.

Едва ли автор «Несвоевременных мыслей», редактор прихлопнутой большевиками газеты и безошибочный предсказатель судьбы платоновского «Чевенгура» мог простодушно обмануться, например, устроенными специально ради него «потемкинскими деревнями» Беломорканала, благостным видом поголовно перешедших в вегетарианство волков, дружно делающих «общее дело» с вверенными их попечению поголовьем овец. Не говоря уже о том, что писатель, воспевающий рабский труд — в подарочной энкавэдэшной упаковке — и молодых коллег энергично поощряющий к тому же, ведает, что творит.

За редкими исключениями он просто-напросто не хотел понимать, вернее — показывать свое понимание. Для писателя он, пожалуй, даже чересчур искусно умел утаивать мысли, довольствуясь иносказанием и намеком. В отличие от боготворимого им Толстого, он так и не решился на слово-поступок — «Не могу молчать!» Но лишь время от времени словно бы давал знать, что не может говорить.

Достаточно было по возвращении из соррентинского далека принять, хоть и не без колебаний, предложенные Сталиным условия людоедских игр, чтобы маска приросла к лицу. Со страху это было сделано, из корысти, тщеславия или еще каких побуждений — литературе безразлично. Она в эти игры не играет.

Письмо Горького — «лукавое празднословие», осознанное и расчетливое. Это — не ответ, но уход от ответа — и ответственности. Он пре-

красно знал, что рукописи Кржижановского присланы ему не для «оценки», но с тем, чтобы он помог их опубликовать, сперва, естественно, ознакомившись, то есть удостоверившись в таланте и мастерстве автора — ни в том, ни в другом он не отказывает. Стало быть, его сомнения: дескать, едва ли написанное Кржижановским найдет издателя,— никакие не сомнения. А прямой отказ участвовать в судьбе этого писателя. Творческая «чуждость» тут не при чем. В конце концов, «Серапионовы братья», которым он сочувствовал и помогал, если и были ему эстетически ближе, то ненамного. Горький «не понимает» Кржижановского последовательно, я бы сказал, целеустремленно.

Он сразу и резко отмежевывается от этой прозы — целым полустолетием,— «переадресовывает» ее давно несуществующим читателям восьмидесятых годов минувшего века. Вовсе не требуется университетского образования, даже в нынешнем его варианте, чтобы сообразить, что никак не могла она тогда возникнуть. Ее темы, образы, формы значительно более позднего происхождения. «Отсоединение» произведений Кржижановского от времени их создания отнюдь не безобидно. Сей прием дает Горькому возможность говорить то, что он говорит, совершить исторический экскурс по поводу, но не по существу прочитанного.

Тем забавней, что Горький все-таки угадал. Правда, «не в ту сторону». Ведь кабы завел он речь о восьмидесятых годах нашего столетия, то прозорливости его цены бы не было. Однако это, видимо, выше его сил: предположить, что будущее рассудит не по-его, а по-своему, предпочтет Кржижановского абсолютному большинству горьковских «протеже» и, как знать, возможно, самому Горькому, еще не вечер...

В одном не могу не согласиться с автором письма: «рассматривать... сочинения гр. Кржижановского («гражданина», конечно, не «графа» же! — мелкий штрих, но характерный в этих двух буковках с точкою, совершенно уже «совковых».— В. П.) со стороны их философской ценности» ему и впрямь не показано. Иначе не перебирал бы философические дилетантствования времен «своих университетов» — и все невпопад! — и не поминал бы всуе отца «теоретического скептицизма» Пиррона, говоря о писателе, не только не страдавшем «пирроновым недугом», но и лапидарно выказавшем отношение к нему: «Скепсис — импотенция. Скептик — евнух истины».

И так — в каждом абзаце. «Позитивисты из семинаристов», например, и обидеться бы на него толком не успели, обнаружив изумленно, что, едва отиронизировав над ними, Горький тотчас, сам того не замечая, предстает позитивистом-ортодоксом, чуть ли не Чернышевским, разглагольствующим об «иной гносеологии», то есть *теории* познания, которую можно «потрогать», ибо основана она «на фактах». И вот уже абстрактной (читай — сомнительной) ценности мышления противополагается прикладная «польза» деяния. Потому что «большинству человечества не до философии». Ну, кто же станет спорить с подобным трюизмом! Только точно так же — и не до литературы, в том числе — не до Горького. И что это вообще за манера — решать творческие проблемы большинством голосов! Ну, хорошо, выдворили философов из большевицкой России (заодно — писателей, журналистов, музыкантов, историков), а оставшихся поубивали — жить стало лучше, веселей?

Однако всего замечательней, пожалуй, эта суровая ссылка на «трагические дни, когда весь мир живет в предчувствии — неизбежной и великой катастрофы»,— и потому творчество Кржижановского «неуместно» (что говорить — мастерски писано! — эпитет найден точнейший, *места*, действительно, нет). Пассаж получился на загляденье *перспективным:* кратким, идеологически точным и удобным в употреблении. Попытка *эстетически* или *философски* оспорить его легко квалифицируется как поступок *политический* — со всеми вытекающими последствиями. Стоит ли удивляться, что он прочно вошел, так сказать, в профессиональный обиход нескольких поколений редакторов, издателей, цензоров. Не счесть стихов, рассказов, романов, пьес, статей, не увидевших света сразу по написании, потому что были признаны «неуместными» в наши трагические (героические, оптимистические, исторические и прочие) дни. Между тем причинно-следственной связи тут нет. «Уместная» литература — нонсенс. В любые дни.

Горький писал письмо за год до прихода Гитлера к власти, за семь — до начала мировой войны. «Предчувствия», таким образом, оправдались.

И вот тут уже впору было Кржижановскому не понять Горького. Какие к черту «предчувствия, если катастрофа давно произошла — полтора десятка лет назад. Новеллу с таким названием он завершил еще в двадцать втором, когда Горький обретался в Германии. И включил ее в «Сказки для вундеркиндов».

Мир далеко не сразу уразумел смысл и масштабы случившегося в России — тем хуже для мира. Хлебников говорил, что, слыша слово «смерть», чувствуешь себя должником, к соседу которого пришел заимодавец. Но не к тебе.

По Кржижановскому, эта глобальная катастрофа — одновременно и личная, для каждого. Потому что преступление против человечности, а их он в революционные годы насмотрелся бессчетно, по сути, всегда — преступление против личности, чьи права равны нулю. «Единица — вздор, единица — ноль»,— спарадоксил «лучший, талантливейший поэт советской эпохи».

Разумеется, тех, кто сознавали катастрофичность Октябрьского переворота, спровоцировавшего затем гражданскую войну на одной шестой Земли, превратившейся в пороховой погреб, способный — от случайной искры — взорвать остальные пять шестых, было немало. Но в отличие от большинства из них, относившихся к этому как к стихийному бедствию, либо размышлявших о социальных причинах, о роковых промахах той или иной политической партии, наконец, о национально-исторических истоках коммунистического затмения России, то есть сводивших все в конце концов к трагическому стечению обстоятельств, к исключительности российской судьбы, в отличие от них Кржижановский считал происшедшее логичным, закономерным следствием мировой войны и визионерски описанного Шпенглером «заката Европы». В схватке за выпавшую из рук самодержавия Россию победил тот, кто ловчее и прагматичней всех использовал «кризис гуманизма». И сумел нарастить ничтожный поначалу свой перевес до решающего — безоглядно антигуманистическими средствами.

«Минувшую войну вели не люди против людей (это мнимость), а машина против человека: победила машина,— писал Кржижановский в 1923 году.— Гуманизм рухнул; а пушки, задрав кверху жерла, торжествовали. Человек, который по максимам европейской философии для человека должен быть целью, из *цели* превратился в *мишень*. Любой прапорщик знал: потерять человека — пустяки; потерять пулемет (машину) — позор. Да про людей у прапорщиков никто и не спрашивал, а осведомлялись: сколько *штыков?* «Люди» (?) при орудиях назывались «прислуга»: безмолвные и покорные ех-люди беспрекословно повиновались вдавленной в железо дыре. Даже говорили не на своем, а на машинном языке: так, пространство, не поражаемое артиллерией, на

котором можно было утаить от машины жизнь, называлось «мертвым пространством» (очевидно, с точки зрения машины); о вобранных в полевой бинокль полях не говорили — «какой простор», а «какой обстрел»... Предписывали: берегите патроны. И ни разу: берегите человека. И человека не хватило. Не уберегли».

Писатель услышал, что с языком,— а значит, и с человеком — творится нечто неладное. (Отсюда — рукой подать до непроизносимых советских аббревиатур, механических новообразований из двух-трех усеченных до корня слов и «новояза», о котором много позже скажет Оруэлл.) Человек человеку — мишень. Четыре года спустя они двинутся друг на друга — в новелле «Мишени наступают».

Не случайно именно применительно к тоталитаризму впервые возникло понятие «государственная машина».

«Распалась связь времен», и с нею — веками складывавшаяся система межчеловеческих связей и гуманитарных ценностей. «Светлое будущее» никогда не наступит, если ради него в жертву принесено настоящее. И отрицается прошлое. Герой прозы Кржижановского — человек, ищущий экзистенциального выхода из коллективного безумия, нащупывающий хотя бы подобие равновесия в шатком, рассыпающемся мире *пост-катастрофной* эпохи.

«Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды,— сказано в «Катастрофе».— Уважайте неприкосновенность чужого смысла. Прежде чем постигнуть какой-нибудь феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынув из вас вашу суть, отдали б ее в другой, враждебный и чуждый вам мозг». Нам, выросшим на Эзоповом языке всего лучшего, что в советские десятилетия создано литературой метрополии, не приходится ломать голову: о чем речь? Но современники писателя — из «вундеркиндов» — были не глупее нас. И не понаслышке знали, что все действия новой власти как раз и означают: «неприкосновенность ч у ж о г о с м ы с л а» приказала долго жить.

Выдирая вещи Кржижановского из контекста эпохи, Горький приглушал, затушевывал прежде всего их эсхатологичность, лишал звучание важнейшего обертона.

Вообще-то не стоит переоценивать датировку того или иного литературного произведения. Прямой отклик писателя на события социальные и политические редок. Еще реже ему сопутствует в этом деле удача. Во избежание недоразумений: речь преимущественно о прозе. Поэзия на все реагирует острей, эмоциональней да и возникает стремительней, нежели проза, требующая, по слову Пушкина, мыслей, мыслей и мыслей, зреющая медленно, в про-живании и пере-живании происходящего, устанавливая постепенно дистанцию и тот угол зрения, что позволяет охватить минувшее как можно полнее — и всякой частности определить единственное место в картине, где все связано со всем. Поэт *догадывается* о сути — тем более убедительно, чем точней, пластичней и многозначней его слово. Прозаик *додумывается* до нее.

Бывают, однако, тектонические сдвиги истории, преобразующие и концентрирующие творческую энергию, так что художник безошибочно прозревает в настоящем будущее, изображает его не гипотетически, но с отчетливостью свершившегося, прошедшего. И тогда дата, выведенная под сочинением, становится — на все времена — как бы ключом к нему. Современникам это, как правило, столь очевидно, что и в голову не приходит — оставить напоминание для потомков.

Максимилиан Волошин поэму «Россия» — о трагической цикличности истории страны — завершил в феврале двадцать четвертого года. Менее чем через месяц после смерти Ленина.

И этой ночью с напряженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Молитвами горящих о России...
И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.

Тем же годом помечена повесть Кржижановского «Странствующее Странно», в одной из глав которой описана гибель организма, пораженного горячечным бунтом красных кровяных телец, этих «пролетариев крови», не ведающих самоубийственности своего порыва и необратимости его.

Годом позже Михаилом Козыревым написана повесть «Ленинград», одна из первых в мире антиутопий. Повод — переименование бывшей российской столицы в честь почившего вождя. Действие повести происходит сперва в десятых, затем в начале пятидесятых годов и завершается «хроникой» неудачной попытки свергнуть коммунистический режим. Автор погиб в тюрьме в сорок первом — за полвека до первого издания своей книги — и до всего, чему мы теперь стали свидетелями.

Примеров можно бы привести еще много, но ограничусь этими тремя.

Горькому «образца тридцать второго года» сочинения Кржижановского не понравились — и не могли понравиться. Тут кстати будет вспомнить о птичках.

Надо же было дожить до того, чтобы из созданного им многострачитья-многотомья выбран был и официальной пропагандой-критикой утвержден в качестве «фирменного знака» писателя не роман-эпопея, даже не знаменитая повесть, откуда есть пошел — с подачи журналиствовавшего вождя — оксюморон «партийная литература», но романтически-пошлый «Буревестник», который разве что самую малость послабее, чем «Девушка и Смерть». И — при внимательном взгляде — есть не что иное, как... «анти-декадентская» интерпретация бодлерова «Альбатроса»! Все эти «пингвины в утесах» и прочие курьезы, изложенные не в лад пафосу приплясывающими хореями, тем более забавны, что изобретались на фоне гениального Серебряного Века русской поэзии. Ничего поэтому странного, что вследствие оного, если угодно, орнитологического антагонизма «буревестник революции» не нашел ни единого доброго звука для подвернувшегося под клюв «альбатроса».

А недобрые нашел — особенно в самом конце письма. Дескать, не просто так — по прихоти своей или, там, антипатии личной — не станет он поддерживать Кржижановского, но из благородного опасения: а ну как, опубликованы будучи, сии сочинения «вывихнут некоторые молодые мозги». Хотя скорее как раз наоборот — не вывихнули бы, а вправили, вытеснив барабанный, казенный оптимизм истинным трагизмом миропонимания.

Горький и сам, конечно, писатель трагический. Однако в других этого не любил. И в тридцатых годах, когда тщательно уже отмеренный и отвешенный властями «пайковый трагизм» причитался немногим — надежным, выгодным, удобным — художникам, он, получив такую льготу, ни с кем не желал ею делиться.

По свидетельству Георгия Шторма, это письмо Кржижановского не удивило и не огорчило. На помощь он не рассчитывал. И, не получив ее, остался «при своих» — просто захлопнулась еще одна приоткрывшаяся было дверь. Сочинения Горького он ценил невысоко. А к «чужому смыслу» бывал уважительно чуток лишь при одном непременном условии — при наличии «смысла», заменить который не могли ни старшинство, ни былые литературные заслуги. Аргументы же корифея в данном случае стоили недорого. Ибо главный из них, благополучно доживший до наших дней, уже побывал в употреблении за несколько лет до того: первым делом — колбаса, ну, а философия — потом. Правда, Олеша, сталкивая по этому поводу в «Зависти» Кавалерова с Андреем Бабичевым, полагал, что создает одну из эффектнейших своих метафор. Кржижановский знал, что, похерив философию, колбасы не получишь.

Впрочем, одна фраза, судя по всему, его задела. Первая. Формула, которою Горький начал письмо,— не ради красного словца или демонстрации начитанности. Она поддается вполне конкретной расшифровке. «Мудрости эллинской», то есть «лукавству» европейской философии и «модернистской» литературы Горький противопоставляет — не называя — *истину* русской классической традиции, так сказать, «Евангелие от Толстого».

Кржижановский, не хуже него знавший русскую литературу и несравнимо лучше — европейскую (не говоря уже о философии — классической и современной), среагировал на это, как и подобает писателю. Ровно год спустя, в августе тридцать третьего, он писал жене, что завершает работу над книгой новелл «Чем люди мертвы». Подразумевая первую и мгновенную читательскую ассоциацию с христианской притчей Толстого «Чем люди живы».

Там, если помните, ангел, отправленный на землю постигать смысл человеческой жизни и мудрость Промысла, обнаруживает, что «живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях». И перед возвращением на небеса просвещает — в полном согласии с автором — благоговеющих смертных: «...Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге. Потому что Бог есть любовь».

Герои включенных Кржижановским в эту рукопись вещей (почти все написаны раньше — меж двадцать пятым и тридцать первым годами) именно тем и занимаются, «чем люди мертвы»: «сами себя обдумывают», ум и душа охвачены рефлексией, не оставляющей места для любви. Потому что сбылось пророчество Ницше: «Бог умер» (притча с таким названием есть в «Сказках для вундеркиндов»). А для оживления, как известно из фольклора, одной «живой» воды мало — надобна и «мертвая»...

Занимательная, богатая внезапностями фабула и стремительный ритм, сгущающий повествование, когда десять-двенадцать страниц — повесть, а двадцать пять — чуть ли не роман, целая история жизни, контрастируют с неторопливостью, несуетностью мысли. Так возникает драматическое напряжение этой прозы — на пересечении быта и бытия.

Поразившая мир русская литература XIX века была выплеском энергии, столетиями копившейся и не находившей свободного выхода, пока не развился язык и не было освоено многообразие форм письма, уже давно разработанных литературой европейской. Наверстывая тысячелетнее отставание от христианской культуры, русский XIX век набрал такую скорость, что на некоторое время опередил всех. И завершился творчеством Толстого. Выдохся. Не случайно поздний Толстой — это притчи и публицистика, весьма уязвимые с позиций его же собственного художнического опыта.

Смену эпох художники почувствовали первыми. Дальнейшее культивирование национальной исключительности искусства грозило обернуться герметической провинциальностью. Двадцатое столетье впервые в истории дало ощутить — и осознать — ничтожность Земли в космическом пространстве и общность проблем, довлеющих ютящемуся на этом шарике человечеству. Потому литература нового времени решительно размывала прежние границы, прорастала общими для всех идеями, образами, метафорами.

В «Чевенгуре» легко обнаруживаются образы и мотивы рыцарского романа. Беспросветная современная свифтиана разыгрывается на страницах замятинского «Мы». Целый библиографический указатель прихотливо переплетенных тем и сюжетов иноязычных авторов составляют, дополняя друг друга, исследователи булгаковского Романа. Вариации на темы немецких романтиков проступают в лучших рассказах Грина — «Фанданго» и «Крысолов».

У Кржижановского в «Чем люди мертвы» *каждая* новелла возникает на стыке русской и европейской литератур. Будь то «Квадратурин», где бытовая, интимная жизненная ниша превращается в бесконечно разрастающееся, «анти-шагреневое», что ли, пространство, растворяя личность в вечности, сознание в безумии. Или «Фантом», вынуждающий вспомнить «готический роман» Гофмана, «великого мастера темы о двойничестве». Однако «теме двойного бытия тесно внутри малого человеческого «я», она ищет простора» — и вместе с нею, вырвавшейся, наконец, на волю, отлетает душа гибнущего героя. Или «Чудак» — про странствующего по дорогам войны коллекционера и классификатора страхов, психоаналитика, ставящего смертельный опыт на самом себе; причем война изображается без каких-либо национально-государственных примет, но с равным сочувствием к обеим сторонам,— братоубийством, психозом, толкающим человека убивать себе подобных...

Такую литературу употребить в своих прагматических целях государство не в состоянии. И оно ее «закрывает».

Нетрудно понять, что призывы к верности «традициям классики», зазвучавшие с трибун и освященные именем Горького, а также всемерно поощряемая свыше борьба с формотворчеством («формализмом») были, в сущности, стремлением мумифицировать «живой труп» искусства. И вменить всем в обязанность — под страхом суровых кар — считать эту мумию «вечно живой».

Горькому отводилась в этом спектакле заглавная роль. К тридцать четвертому году он вполне дозрел до мысли о бесполезности сопротивления и уже был готов расслабиться и получить максимум удовольствия. Тогда и состоялся Первый съезд советских писателей.

Кржижановский — под псевдонимом «Прутков-внук» — иронически комментировал это событие в периодике (такое было еще возможно — в последний раз). Он физически ощутил колоссальное моральное давление, обрушенное на писателей под девизом «Искусство принадлежит народу», девятый вал наказов, заказов и советов трудящихся — писателям, низводимым тем самым до «слуг народа». Писатели были, можно сказать, изнародованы. Чем иным объяснить, что драгоценнейший стилист Бабель призвал делегатов съезда учиться стилю у Сталина!

Наконец, в один из дней цветущие улыбками колхозники дотащили до стола президиума огромную корзину овощей — в дар Горькому. Совершенно в духе дружеского застолья: «От нашего колхоза — вашему колхозу». (Кстати, Горького в тот день на съезде не было, он прихворнул и, говорят, очень гневался, когда обнаружил назавтра, что несытые молодые писатели-делегаты растащили овощи по домам, оставив ему в пустой корзине лишь красочную бумажку — «адрес».)

К чему шло — к тому и пришло. Съездом ознаменовался «великий перелом» литературы. И первым председателем колхоза, виноват, союза писателей стал, естественно, Горький. В точном соответствии строке Кржижановского из «Записных тетрадей»: «У нас слаще всего живется Горькому, а богаче всех Бедному».

Коллективизация литературы, которая — по определению — дело штучное, сугубо индивидуалистическое, означала для Кржижановского, что все лучшее из написанного им обречено на неизданность. Итоги съезда уместились в одной его фразе: «Это так же похоже на литературу, как зоологический сад на природу».

Лет десять спустя он говорил Наталье Семпер, что она, быть может, доживет до обнародования его прозы, все-таки на четверть века моложе. И оказался прав. В ее же записях сохранилось высказывание Кржижановского: «Писатель не должен состоять в колхозе и вырабатывать трудодни». Сформулировано задолго, за полвека с лишним до наших литераторов-современников, выясняющих, кто из них первым сравнил союз писателей с колхозом — теперь, когда можно.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЫ ГОВОРИЛИ ВСЛУХ ТО, О ЧЕМ ДРУГИЕ ВТАЙНЕ ДУМАЛИ...

Беседу с Александром ЮГОВЫМ ведет Евгений ДАНИЛОВ

Конгресс соотечественников, проходивший в Москве во второй половине августа, собрал многих из тех, кто не мог ранее получить визу на въезд в страну.

Был среди них и редактор авторитетного общественно-политического журнала русской эмиграции «Посев» Александр Югов.

Рождение журнала, совпавшее по времени и с созданием одноименного издательства, относится к 1945 году. Место рождения — лагерь для политических беженцев из России («ди-пи») у селения Менхегоф близ города Касселя в Западной Германии.

В настоящее время журнал выходит в городе Франкфурте-на-Майне, по праву считаясь одним из значительных общественно-политических журналов русской эмиграции.

Нашу беседу с главным редактором мы начинали за день до августовских событий, на конференции РХДД («Российского христианско-демократического движения»), а продолжили ее спустя пять дней, уже после провала путча.

— «Посев» хорошо известен в нашей стране, хотя бы по названию. Но с его главным редактором читающая публика практически не знакома.

Как вы пришли к руководству журналом?

— О себе в контексте деятельности нашего журнала я особенно говорить не буду. Моя судьба и жизнь неотделимы от журнала, от основного направления его деятельности.

Все годы своего существования он сохранял свою линию, при всех редакторах выдерживая неизменными свои идейные принципы, всегда открыто и честно высказывая свою партийную, общественную позицию.

— Ведь «Посев» отражает идеологию Народно-трудового союза...

— Да, хотя формально он не числится прямым его органом или же органом Совета НТС, как, допустим, «Правда» — органом ЦК КПСС.

«Посев» — шире, в нем печатались и печатаются многие авторы, не являющиеся членами НТС.

Конечно, высказываемые на страницах журнала идеи лежали в русле «солидаристических» принципов, неприятия марксистско-ленинской идеологии, существующего в нашей стране тоталитарного строя.

Моя биография в отношении к линии журнала особого интереса не представляет.

Я пишу в этот журнал давно, с момента эмиграции в январе 1972 года. Восемь лет проработал в нем ответственным секретарем.

— Вы публицист?..

— Да. Ничего художественного я не писал.

— А чем вы занимались до отъезда?

— До отъезда я был инженером, а не журналистом.

— Это в традициях журнала. Ваши предшественники: Светов (Парфенов), Горачек, Лев Рар тоже по своей первоначальной профессии были инженерами.

— Именно так. Был лишь один профессиональный журналист в руководстве журнала Лихачев (Светланин). Московский журналист, пошедший в ополчение в 1941-ом, он попал в плен, скитался по лагерям, а позже был привлечен к руководству журналом, и, на мой взгляд, являлся одним из лучших главных редакторов.

— Ваш приезд связан с Конгрессом соотечественников. Предыдущие попытки въехать в страну были неудачны. КГБ вас сюда не пускало, боясь больше, чем черт ладана... Даже в годы перестройки.

— Совершенно верно. Даже теперь два наших сотрудника получили отказ в визах, что вообще характерно для деятельности КГБ последних лет, это вне логики.

И я как главный редактор получаю разрешение, а сотрудник журнала Андрей Окулов получает отказ?!

— Ведь три члена НТС — писатель Владимир Рыбаков, Борис Миллер и Юрий Брюно — просто выкидывались на глазах у всех из страны.

— Миллер, кстати, сейчас тоже приехал на конгресс. Его высылка тоже была вне логики. Все делалось глупым образом. В случае с Миллером — за два дня до окончания визы. Это нелогично и непонятно...

— Иррационально.

— Да. Мне кажется, что все делается с одною единственной целью: доказать, что у нас еще есть идейный враг и мы (КГБ) не зря едим свой хлеб.

Я на сей счет писал в журнале комментарий под названием «Полцарства за врага».

Получается, что с врагами сейчас напряг. Немецких реваншистов и американских империалистов уже не бичуют, остается, значит, НТС.

Выступал Крючков в Верховном Совете СССР в период гласности, заявляя, что НТС совершил преступление, открыв свое издательство и распространяя литературу. Десятки лет за распространение нашей литературы людей сажали в лагеря...

— Одного моего знакомого, найдя у него во время обыска «посевовскую» книгу, били этой книгой по лицу, приговаривая: «А вот тебе за «Посев»...

— И нас при этом еще стараются изобразить кровожадными реваншистами.

Это абсолютно не соответствует истине, противоречит нашим «солидаристическим» принципам. Мы всегда выступали против мести, против кровожадных расправ и всегда считали, что люди, работающие в рамках этой системы, даже находящиеся на самом верху, по сути дела, являются ее жертвами...

— Сейчас вышло несколько номеров «Посева». Что-то меняется...

— Да, есть договор на печатание «Посева» здесь небольшим тиражом. Будет и подписка. К сожалению, мы выходим на арену тогда, когда наблюдается спад интереса к периодике. Лучше бы журнал был доступен читателю лет 10 назад.

Мы тогда очень много и очень напряженно занимались проблемами переходного периода во всех его аспектах, предвидя его неминуемость и необходимость перехода к социально-рыночной экономике.

И последние 10 лет мы были озабочены тем, как сделать этот переход максимально безболезненным для населения страны, понимая при том, что полной безболезненности здесь быть не может.

Мы много думали о том, как самортизировать этот процесс.

Лучшие умы думали об этом. И к сожалению, материал, который был бы сегодня крайне полезен для всех занимающихся проблемами перестройки, мало кому знаком.

И об этом можно лишь сожалеть.

— В «Посеве» сотрудничали крупнейшие политологи. Журнал всегда был озабочен судьбой России, ее будущим, устремлен в перспективу и сейчас.

Как в связи с «гласностью», отменой цензуры, появлением массы новых изданий изменилось положение «Посева»! Понятно, что многие авторы отсюда стали давать свои материалы в «Посев», но ведь увеличилась и конкуренция...

— Те критические материалы, которые печатались в «Посеве» десятки лет, тиражируются сегодня во многих изданиях.

И многое декларируемое нами было у людей, так сказать, на уме. Они лишь не могли это высказывать.

Мы же говорили вслух то, о чем другие втайне думали.

А сегодня на устах у всех то, что вчера было только в мыслях.

Как раз это, может быть, единственный успех «перестройки», который искренне нас радует, потому что наша работа в течении многих лет...

— Дала свои плоды... И все это время в вас видели главного врага.

— Да. КГБ, органы идеологической охраны считали нас врагом № 1. Ибо, хотя на Западе и жили многие известные диссиденты, в нашем журнале все их идеи находились как бы в «собранном» виде.

— Вы активно внедряли их в сознание...

— И делали это целенаправленно. Один пример. Меньше года назад В. Аксючиц дал интервью, в котором высоко оценил деятельность «Посева» 10—15 лет тому назад, когда он впервые познакомился с идеями НТС.

Сегодня на многих примерах мы видим, что ряд сегодняшних руководителей политических партий воспитывался на нашей политической литературе, в идейном плане они намного опередили многих нынешних демократов, пришедших к этим же идеям лишь в годы перестройки...

— За радикализмом которых просвечивает «розовая подкладка»...

— Дело даже не только в подкладке. Но и в недостаточной широте политической культуры, широте кругозора, недостаточности понимания историзма борьбы с этим тоталитарным режимом. Чересчур распространены определенные клише, очень мешающие сегодня плодотворно работать.

И всем нам радостно сознавать, что сегодня в России есть люди, которые, хотя и не называют себя «солидаристами», но фактически ими являются.

— Какие из политических партий и кто из их лидеров наиболее вам близки по своим идейным воззрениям, наиболее близки к идеям НТС!

— Без сомнения, РХДД...

— Почему вы сегодня и пришли на эту конференцию...

— Да. Ведь что такое «солидаризм»? Один из последних представителей русского религиозного ренессанса, Сергей Александрович Левицкий, дал очень точное определение этому понятию, которым мы широко пользуемся, определив его как «социальную проекцию христианства».

— Именно в политическую сферу...

— В политическую и социальную. И то же самое мы видим у РХДД. Я фактически не вижу большой разницы. Политическая программа РХДД во многом перекликается с идеями НТС. Что вполне естественно. Дело здесь в общности мышления, в общих политических и национально-демократических генах.

По понятным причинам у НТС нет своих депутатов в органах власти. До сегодняшнего дня нас выдвигают на роль главного врага...

— Преследуют на страницах прессы. Вы пристально следите за политической ситуацией в России, будучи осведомлены о ней более, чем многие здесь живущие.

Какова ваша оценка сегодняшней общественно-политической ситуации в стране, ваше отношение к «перестройке». И каковы, на ваш

взгляд, могут быть пути выхода из того кризиса, в котором сегодня оказалась Россия! Перестрелять коммунистов, как склонен кое-кто думать, и начать строить новое светлое будущее... Но это же нереально. Наиболее простой выход не всегда оказывается наиболее простым. И зло способно породить лишь новые Эвересты зла...

— Как мы можем относиться к «перестройке», если вся наша деятельность была направлена на это как на конечную цель...

— Притом, что разные люди вкладывают различные понятия в термин «перестройка»...

— Разумеется. Коммунисты — одно, а мы — иное. И осуществляется она, мало сказать неумело,— безграмотно.

Руководители страны, вероятно, чувствовали, что так больше жить нельзя, но они совершенно не понимали и не чувствовали путей и сложности выхода из кризиса. Сумбур, непонимание очевидных вещей, дилетантизм можно наблюдать на протяжении шести лет перестройки.

Так что сегодняшняя ситуация была предопределена. В качестве доказательства я могу привести только один факт. Недавно я сделал ретроспективу из наших статей 1985—1987 годов.

— Все прогнозы сбылись...

— По горячим следам мы характеризовали конкретные решения, законы и мероприятия руководства, и мы предсказывали, чем все они неизбежно закончатся. Все наши прогнозы подтвердились. Это первое.

Второе. В то время мы говорили, в результате чего действительно может наступить перестройка. А сегодня это же говорится широко и открыто многими органами прессы.

Если бы тогда нас не преследовали, а прислушивались, то это было бы гораздо полезнее для страны.

В конце 1986 года, когда Горбачев заявлял о перестройке только в рамках системы, мы печатали много откликов на это. Многие наши авторы писали, что перестройка в рамках системы неизбежно зайдет в тупик, будет развиваться уродливо, и результаты будут плачевны. Что мы сегодня и видим.

— Конечно, компартия не хотела менять эту систему, все затевалось с единственной целью — удержаться у власти, которая уходила из рук...

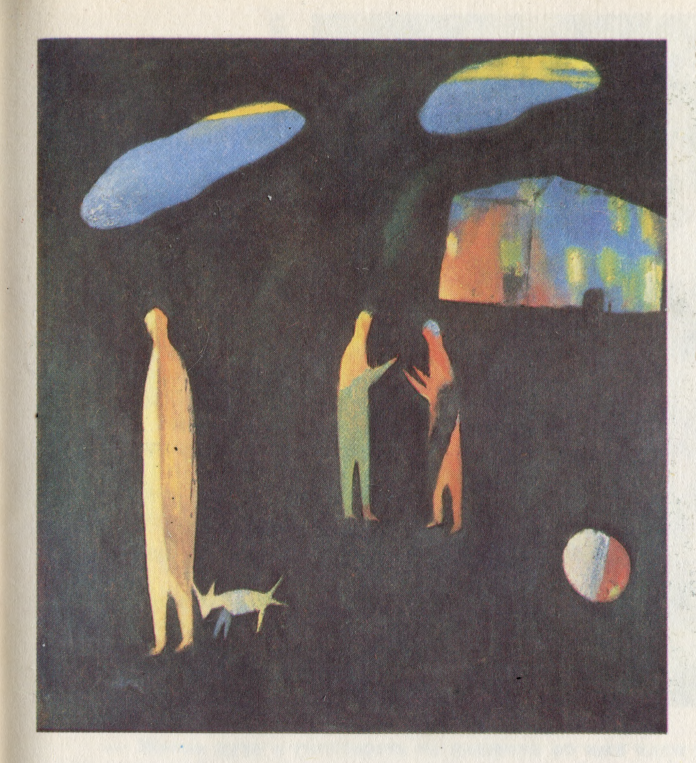
— Совершенно верно. За эти 6 лет совершено много необратимого, есть и безусловно положительные сдвиги, в первую очередь, в сознании людей, в области расковывания духа и в том, что люди могут откровенно говорить.

Но в плане социально-экономическом, главном направлении перестройки, дела обстоят неважно.

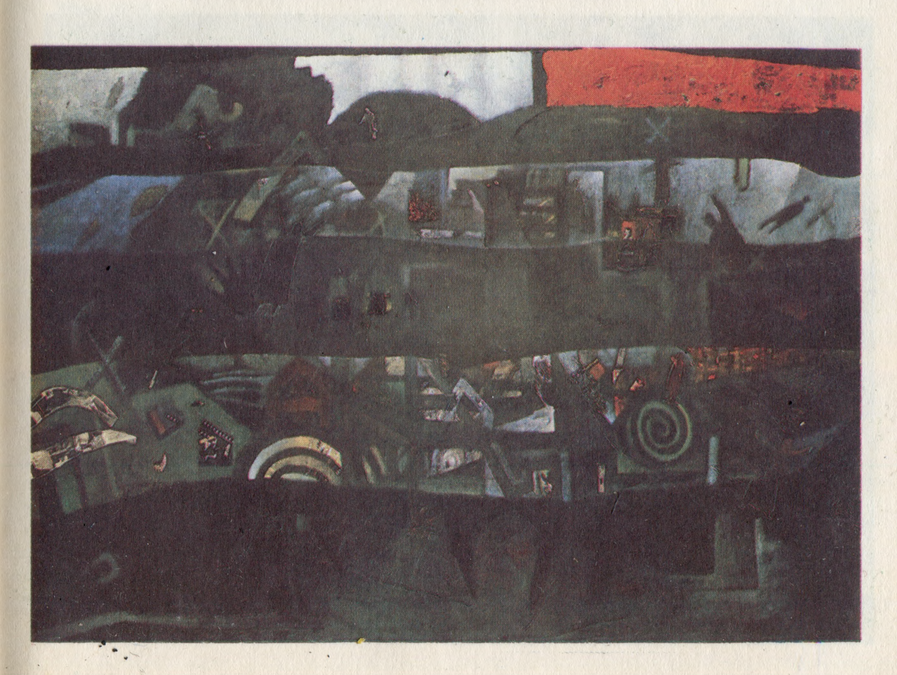
Мы никогда не говорили о том, что перестройку следует начинать с политических пертурбаций, несмотря на то, что это вроде бы льет воду не на нашу мельницу. Мы всегда исходили из интересов страны в целом...

— Наша ситуация напоминает положение франкистской Испании, где все преобразования были тщательно подготовлены правительством Франко, а потом власть была передана королю.

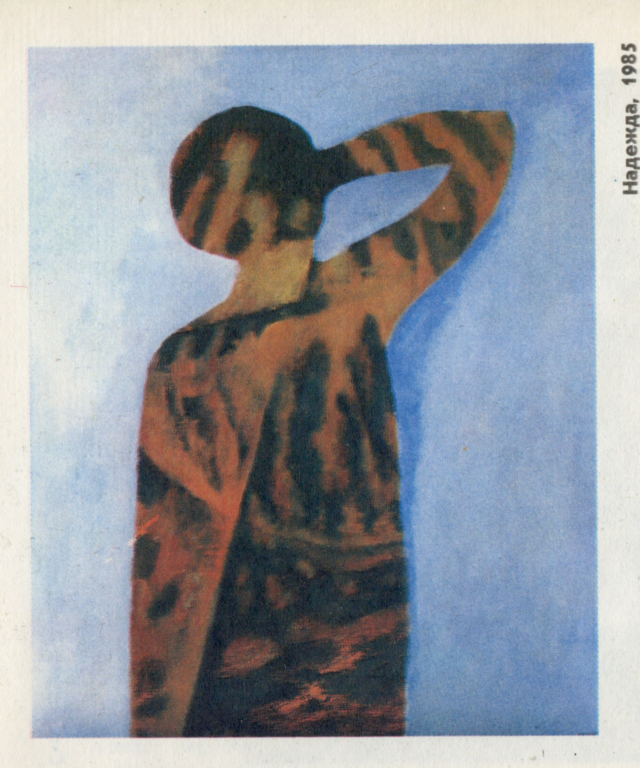
— Да. Еще в середине 1970-х мы тоже обсуждали этот вопрос. Тут существует и сходство, и в то же время большое различие.



Воспоминание о детстве, 1985



Симфония Д. Шостаковича, 1986



Надежда, 1985



Свет, падающий на людей, 1989

— Тем более, что в России все реформы традиционного всегда исходили сверху.

— Дело даже не в этом. Режим Франко, как и многие другие, авторитарный, а не тоталитарный. И между ними существует пропасть не меньшая, а гораздо большая, чем между авторитарным и демократическим.

И переходный период не только в Испании, но и в Греции, Аргентине, Чили и Южной Корее не идет ни в какое сравнение с попытками сразу от тоталитаризма перейти к демократической системе.

Даже на примере более однородных, с большими демократическими традициями стран Восточной Европы мы видим, как все равно тяжело, как болезненно проходят там процессы обновления.

А в России они будут проходить еще труднее и болезненнее.

Поэтому крайне важно осуществлять этот процесс умно и последовательно. Сегодня можно прямо сказать, что этого, к сожалению, сделано не было. «Перестройка» пошла не по тому алгоритму, к которому мы призывали.

Мы хотели видеть процесс перехода максимально безболезненным для страны, а видим едва ли не худший его вариант.

— Что, на ваш взгляд, можно сегодня еще сделать!..

— Надо идти до конца. Следует форсировать земельную реформу.

Без реформы сельского хозяйства, без того, чтобы накормить народ, невозможно существовать. Это основа.

— И никто нам не поможет без нас самих.

— Всегда в любом государстве существуют люди, которые его кормят. В голодной стране не проходят никакие самые хорошие реформы...

— Жизнь духа и готовность на лишения во имя идеи все-таки удел немногих...

— Да. И это может быть чревато лишь вспышками гражданской войны в стране хронического полуголодного состояния.

— Тем паче, что гражданская война на национальной почве уже идет.

— Мы говорили о необходимости амортизировать процесс национального размежевания, во многом понимая его неизбежность. Все это время мы не признавали законность оккупации Прибалтики.

Тем не менее, все то, что происходило более 70 лет в нашей стране, так просто не отбросишь.

И сваливать преступления режима на невиновных людей сегодня невозможно, не говоря уже о несправедливости подобных мер, все это чревато тяжелыми последствиями.

— Возвращаясь к теме Прибалтики, не следует забывать о том, что, скажем, маленькая Финляндия поднялась против узурпатора, а Прибалтика практически без выстрела легла под сапог насильника. И об этом грехе малодушия забывать не стоило бы...

— Если говорить о грехах, то можно вспомнить, что эстонцы не поддержали Юденича, что латыши участвовали в самых кровавых преступлениях гражданской войны в России, и многое другое.

Но мы не можем делать акцент на этом, чтобы не обострять взаимную ненависть, взаимную вражду.

Надо занять все народы реальными реформами, прежде всего в отношении форм собственности, земельной реформой.

И это само по себе самортизировало бы процессы национального и культурного возрождения.

— Тем более, что там, где люди не живут в нужде, там и национальные противоречия сглаживаются.

— Да. Национальные противоречия есть всюду. И очевидна закономерность: чем хуже экономическое положение, тем более они обостряются, ненормально, иррационально развиваются. И наоборот. Как только страна экономически стабилизируется, эти процессы очень легко сглаживаются.

— Мне кажется, что во многом процессы национального противостояния инициируются компартией, в полном соответствии со старым римским принципом «разделяй и властвуй».

— Это только доказывает беспринципность коммунистов. И коммунисты, которые должны быть интернационалистами, все вдруг стали националистами: в Прибалтике, Грузии, на Украине и т. д.

Это показывает полное отсутствие идейных начал.

— Лишь животная тяга к власти, к кормушке, более ничего... В выступлении Николая Травкина прозвучала мысль, что в недалеком будущем компартия в России займет такое же место как и компартия США в политической жизни Америки.

Не кажется ли вам, что здесь проявлен излишний оптимизм и что зараза большевизма укоренена в русской жизни значительно больше, чем кажется на первый взгляд.

Перекрасив свою личину, большевизм, основанный на трех китах — лжи, ненависти и зависти — может спокойно жить за демократическим фасадом как клоп в перине.

И не случайно же говорится, что каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает.

И что, в связи с вышеизложенным, могло бы нас реально избавить от большевизма!

— Я не разделяю точку зрения, что народ России намного больше, чем другие предрасположен к этой системе.

Разные теоретики, пользуясь весьма искусственными допущениями, пытались это доказать. Но если во времена Бердяева это можно было еще с известной натяжкой принять, то после Второй мировой войны, когда чуть ли не два десятка стран были поражены коммунизмом (некоторые и до сих пор) и в гораздо большей степени,— все это опровергает данное утверждение.

А еще более доказывает это практика разделенных стран.

Если бы не было Тайваня, то можно было бы так же сказать о китайцах, что они всей тоталитарной историей предрасположены к тоталитаризму. Посмотрите, рядом с Китаем есть остров, опровергающий данное утверждение. То же самое мы видим и в Корее, и в Германии.

Да, существовала ГДР. Но другая, бо́льшая часть Германии явила миру одну из лучших, стабильных, наиболее взвешенных демократий.

И после объединения весь этот тоталитарный кошмар уйдет, уже уходит.

Ситуация, мне кажется, не в исторических корнях. Где-то я согласен с Травкиным, что коммунизм как идейная ипостась уже сам себя изжил.

— Осталась власть, кормушка...

— Они назовут себя социал-демократами, социалистами. Ведь в Европе социал-демократы тоже очень разные.

Я, например, преклоняюсь перед таким демократом как Гельмут Шмидт, прекрасно понимающим необходимость существования нормальной экономики, взвешенной демократии. А есть те же социалисты без царя в голове. Лейбористы дотэтчеровского типа и т. д.

— Идейное противостояние коммунизму всем развитием событий и всей общественной мыслью уже было оказано. Вопрос сейчас только за временем. Как быстро максимально большее количество людей поймет всю пагубность этой доктрины!

— Безусловно, поймет. Процесс этот идет быстро, на наших глазах. Хуже другое. То, что он происходит в ненормальных рамках экономического развала, падения уровня жизни, роста преступности, озлобления, когда легко увлечь людей любыми лозунгами, как, скажем, Жириновскому.

Но тут можно найти и положительные, и отрицательные моменты.

Такой Жириновский в Польше, несмотря на то, что там экономическая ситуация лучше, чем в России...

— По фамилии Тыминьский...

— Собрал не 8, а 29 процентов голосов.

— И все-таки больше здравого смысла было проявлено нами.

— В каком-то смысле да.

— Скажите, вы не хотели бы вернуться!

— Словом, мы уже возвращаемся. Будем возвращаться идеями.

Если же говорить о личном возвращении, то те, кто смогут, кто не связан семейными или медицинскими причинами, они вернутся.

Сегодняшняя Россия — это не Россия 1917-го года. Вернуться сюда сложно чисто технически по целому ряду причин.

— Что вы хотели бы пожелать читателям нашего журнала!

— Мы рады, что у нас появилось много таких умных и достойных единомышленников в лице органов печати.

Об этом 10 лет назад мы могли только мечтать. Сейчас это самый отрадный момент, который на фоне экономического развала страны действительно радует, вселяет надежду на будущее.

— Что следует сейчас делать гражданам России, чтобы поскорее освободиться от коммунистического дурмана!

— Ничего особенно оригинального я не скажу. Надо созидать.

События 19—21 августа имели большое воспитательное значение. Был большой подъем патриотизма, у многих спала пелена с глаз.

Но очевидно, что те трудные проблемы, стоявшие перед страной, пока остаются.

И они требуют сегодня единства и консолидации общества.

И сегодня в интересах страны, чтобы принципы солидарности превалировали бы над принципами борьбы.

18, 23 августа 1991 года, Москва

Лев Овруцкий
Анатолий Разгон

ЯКОВ БЛЮМКИН

Из жизни террориста*

10

Киев. 1919 год. Весна. По широкой Николаевской улице движется кавалькада — всадник в черной бурке и конная охрана. Неожиданно всадник выхватил револьвер и направил его в человека, стоявшего на балконе отеля «Континенталь». Тот отпрянул, но тут же, как бы узнав шутника, приветственно помахал ему рукой.

Человек на балконе — Мандельштам, всадник в бурке — Блюмкин. Год назад он приглашал Осипа Эмильевича работать в «новое учреждение», которому предсказывал великое будущее: по его мнению, оно должно было «определить эпоху». Осип Эмильевич благоразумно уклонился от сотрудничества с теми, кого один публицист назвал «янычарами социализма». Затем последовал эпизод с Пусловским (причем О. Э. жаловался жене на Ларису Рейснер, на ее болтливость и бестактность) и обещание мести со стороны Блюмкина. В 1926 году они случайно встретились в купе поезда, увозящего крымских курортников в Москву. Блюмкин демонстративно отстегнул кобуру с револьвером, спрятал ее в чемодан и протянул руку. Они мирно проговорили всю дорогу.

Чем занимался Блюмкин в Киеве? По слухам, ему поручили важную и конспиративную работу по борьбе со шпионажем. Однако наблюдателям было трудно понять, как бурка и кавалькада вязались с предполагавшейся конспирацией. По сообщению «Известий», ВЦИК поручил амнистированному Блюмкину ответственную объединенную революционную работу в тылу одного из фронтов. Скорее всего имелось в виду создание координационного центра из представителей всех советских партий на Украине.

Между тем посещения Блюмкиным особняка в Липках, имевшего зловещую репутацию, не остались незамеченными, хотя, возможно, сам Блюмкин и не пытался их скрыть. Это породило слухи и аресты находившихся в подполье боевиков из группы И. Каховской (30 июля они казнили Эйхгорна, командующего оккупационными войсками на Украине, затем долго охотились за гетманом Скоропадским и Деникиным), которые были увязаны с фактом несанкционированных контактов Блюмкина с большевиками. А потому левоэсеровскими «активистами» было решено его убить. Ирония судьбы: покушение на покушавшегося.

«Вечером,— вспоминал Г. Н. Максимов, член ЦК партии революционных коммунистов (были и такие коммунисты),— когда на Крещатике людно, а в кафе — в особенности, в одном из них, за столиком, установленным на тротуаре под зонтом, сидел Блюмкин, играла шумно музыка, к нему подошли два бывших его товарища и в упор сделали несколько выстрелов. Выстрелов из-за шума музыки и разговоров за столиками почти не было слышно, поэтому боевики скрылись без затруднений, а Блюмкина в бессознательном состоянии доставили в больницу, где после длительного лечения поставили на ноги»[1].

На самом деле имело место не одно, а три покушения. Первое состоялось 6 июня, когда Блюмкин был приглашен «активистами» за город — опять же «для политической беседы», во время которой в Блюмкина было выстрелено восемь раз, но ни один из выстрелов не достиг цели. Второе — описано Максимовым (правда, в советской прессе кафе на Крещатике странным образом трансформировалось в «столовую на Костельной улице»).

20 июня «Известия ВуЦИК» поместили заметку, в которой говорилось: «Третьего дня вечером на т. Блюмкина было произведено третье покушение. В данном случае активисты даже не посчитались с тем, что в больнице наряду с т. Блюмкиным находятся другие больные, которые могли тоже пострадать. Ночью, в то время, когда больные спали, неизвестный бросил в помещение Георгиевской больницы бомбу довольно сильного разрыва. Благодаря счастливой случайности от взрыва никто не пострадал. Не причинено также никакого вреда т. Блюмкину.

Во время допроса т. Блюмкин (на вопрос): кто на него произвел покушение и кем он так усиленно преследуется, категорически отказался назвать фамилии лиц, производящих на него покушение, что в значительной мере тормозит следствие».

Вправду ли Блюмкин хранил молчание, или таким образом чекисты посылали ложный сигнал левоэсеровскому подполью, мы узнаем лишь тогда, когда откроются архивные хранилища КГБ. Оковы тяжкие падут?

11

Вернувшись в Москву, Блюмкин подал заявление о вступлении в союз максималистов, организацию, близко стоящую к левым эсерам. Однако руководство союза, памятуя о темной украинской истории и в то же время не решаясь прямо отказать всем известному революционеру, предложило ему предстать перед товарищеским межпартийным судом. Блюмкин немедленно последовал этой рекомендации.

Заседания суда проходили в номере гостиницы «Националь» (1-й Дом Советов), где проживал избранный его председателем анархо-синдикалист, член ВЦИК А. А. Карелин. Вторым членом суда был Д. А. Магеровский — член ЦК ПЛСР (впоследствии — профессор-правовед), третьим — сам Максимов.

«Судебный процесс» тянулся две недели. Были рассмотрены документы, заслушаны свидетели, главным из которых несомненно являлся сам Блюмкин. «Он утверждал,— вспоминает Максимов,— что явился в ВЧК в Киеве... с целью рассеять убеждение, создавшееся в правительственных коммунистических кругах, что убийство Мирбаха было началом выступления партии левых с.-р. против Советской власти, что он еще перед убийством добился от ЦК партии левых с.-р. заверения, что никакого выступления не будет, что, если бы ЦК в этом его не заверил, он бы не участвовал в убийстве Мирбаха, и что он добился указа о своем амнистировании»[2].

Суд оказался в сложном положении: с одной стороны, трудно было себе представить, что ВЦИК способен «за так» амнистировать кого бы то ни было, да и сам факт обращения в ВЧК являлся, с точки зрения

* Окончание. Начало см. в № 11.

[1] *Максимов Г.* Суд над Я. Блюмкиным в 1919 г. Деньги для партии / Сб. «Память», Москва, 1978 — Париж, 1980, с. 379. На излечении в Киеве Блюмкин находился не более полутора месяцев, во второй половине августа город был сдан деникинцам.

[2] Там же, с. 380.

партийной этики, «нечистоплотным и недопустимым», с другой — отсутствовали факты, свидетельствующие о предательстве. В итоге суд уклонился и от какого-нибудь осуждения, и от «чистой» реабилитации, вынеся поистине соломоново решение: «Из всех просмотренных документов, представленных суду, и личных показаний свидетелей, Товарищеский Межпартийный Суд не установил, что Блюмкин не предатель».

«Не установил, что не предатель» по логике языка означает: «установил, что предатель». Конечно, следуя презумпции невиновности, следовало полностью оправдать подсудимого. Наверное, так и истолковали приговор максималисты, приняв вскоре Блюмкина в свои ряды. Впрочем, легенда о предательстве сопровождала Блюмкина еще долго. Так у одного современника событий встречаем: «Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счет жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь»[1]. Словом, не то он пальто украл, не то у него украли...

12

«За стеклянным столиком «Кафе поэтов» почти ежевечерне сидел бывший левый эсер Яков Блюмкин. Этому чернобородому человеку уже пошел двадцать второй год»[2],— так начинает повествование о нашем герое Анатолий Мариенгоф. Он писал свои воспоминания во второй половине 50-х годов будучи пожилым человеком, однако, мысленно погружаясь в атмосферу своей имажинистской юности, как бы вновь приобретал все ее повадки. И прежде всего едкую иронию по отношению ко всем вызываемым из небытия персонажам и не вполне, скажем так, адекватное представление о масштабе собственной популярности: вряд ли весь мир для него был бо́льшим по площади, чем кафе, где собиралась богема.

Итак, зима 1920 года. «Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках? И он прилепился ласково, заискивающе. К тому же левоэсеровское ЦК вынесло решение: «Казнить предателя». Опять для Блюмкина запахло смертью. А он... не очень-то любил этот запах... И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левоэсеровские террористы ради «гнусного предателя» (как именовали они теперь своего проштрафившегося «героя») приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев.

Перед закрытием на ночь «Кафе поэтов» Блюмкин всякий раз умоляюще говорил: «Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня...» Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона»[3].

Почти тот же зачин мы встречаем в воспоминаниях другого имажиниста — Вадима Шершеневича. «Однажды в кафе появился человек с побитыми зубами. Он озирался и пугливо сторожил уши на каждый шум. Если кто-нибудь сзади резко вставал, человек немедленно вскакивал и опускал руку в карман, где топорщился наган. Успокаивался, только сев в самый угол. Это был Блюмкин... Блюмкин был очень хвастлив, так же труслив, но в общем милый парень...»[4]. (В 20-е годы Шершеневич работал зав. литчастью в театре Таирова и на приемных экзаменах в студию сидел по левую руку от метра. Учитывая это, абитуриенточки, будто сговорившись, читали нараспев: «Другим надо славы, серебряных ложечек, // другим стоит много слез.— // А мне бы только любви немножечко // да десятка два папирос...» Это одно из лучших своих стихотворений Шершеневич посвятил — кому бы вы думали? — Блюмкину!).

[1] *Максимов Г.* Суд над Я. Блюмкиным в 1919 г., с. 381.
[2] *См.:* Мой век, мои друзья и подруги. М., 1990, с. 137.
[3] *См.:* Там же, с. 137—138.
[4] *Там же,* с. 612—614.

Сравнивая приведенные фрагменты, мы должны прийти к выводу, что Блюмкин 1918-го и 1920-го — это два разных человека. Первый — сдержанный, немногословный и явно неглупый. Второй — омерзительный хвастун и патологический трус. Даже внешне они различаются. Вглядитесь в фотографию Блюмкина, помещенную в «Красной книге ВЧК»: сосредоточенный взгляд, мрачное, одухотворенное лицо — от него веет мужеством и сдержанной силой, таким и представляется революционер-террорист. Переводчик из немецкого посольства запомнил: «С бледным отпечатком на лице, тип анархиста»[1]. А вот зарисовка, сделанная желчным пером Мариенгофа: «Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми»[2].

«Патологический» — не случайный эпитет. Думается, что, несмотря на целый ряд шаржевых штрихов, в свидетельствах Мариенгофа и Шершеневича достаточно совпадений, чтобы обнаружить симптомы серьезного нервного расстройства, поразившего Блюмкина. «Он обожал роль жертвы»,— Шершеневич нечаянно сказал правду. Действительно, если Блюмкин боится, то почему не прячется? В огромной Москве легко затеряться, подобно иголке в стогу сена, однако, он каждый вечер с маниакальным упорством просиживает в самом людном месте. Добавьте к этому явно гипертрофированную заботу о собственном здоровье, по словам Мариенгофа, «он ужасно трусил перед болезнями, простудой, сквознями, мухами («носителями эпидемий») и сыростью на улице: обязательно надевал калоши даже после летнего дождичка»,— и, возможно, клиническая картина будет законченной.

Американский психоаналитик Эрик Берн, автор бестселлеров «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры», придумал очаровательный термин — «поглаживание». Это, пишет он, любое действие, предполагающее признание ценности другого человека. В «поглаживаниях» нуждается ребенок — без них он не развивается. Актеру нужны «поглаживания» в виде похвал даже неизвестных ему поклонников. Ученый может пребывать в прекрасном настроении, получая время от времени «поглаживания» своего уважаемого коллеги.

А что же террорист? Более других он нуждается в доброжелательных взглядах со стороны. И чем выше ставка, которую он некогда сделал, тем более частых и интенсивных «поглаживаний» он ожидает. К убийству Мирбаха Блюмкин относится так же, как, по словам Г. Уэллса, Маркс к своей бороде,— то есть холит ее и лелеет, чтобы затем вознести над миром[3]. Блюмкин уверен, что то, что он совершил — подвиг, и жаждет соответствующих знаков признания. Подобно австрийскому императору, сказавшему: «Мое ремесло — быть роялистом», Блюмкин как бы пытался заявить миру, что его призвание — быть мстителем. Он гордо озирался, надеясь услышать восхищенный гул, но натыкался на равнодушные взгляды: «Ну и что? Сегодня, когда счет жертв идет на тысячи и тысячи тысяч, когда на улицах, по выражению Пабло Неруды, «кровь детей течет просто, как кровь детей», кому ин-

[1] Красная книга ВЧК, т. 1, с. 201.
[2] Мой век, мои друзья и подруги, с. 138.
[3] *См.:* *Г. Уэллс.* Россия во мгле. М., 1970, с. 61.

тересен ты и твой Мирбах?» Такой контраст между ожидаемым и реальным способен поколебать самую устойчивую психику. Покушение, подполье, работа в немецкой оккупации, явка в КГЧК, чудовищное обвинение в предательстве, киевские выстрелы, состояние чужого среди своих — не слишком ли для двадцатидвухлетнего человека?

По-видимому, уже к осени Блюмкин справился со своею болезнью. «Его могучий организм одолел опасный недуг»,— сказали бы мы, когда писали бы очерк для некогда популярной рубрики «Им было 20».

13

Осенью 1920 года Блюмкин приступил к занятиям в Военной академии Красной Армии на восточном факультете. До сих пор ничего как будто бы не связывало его с Востоком — разве что изучение иврита в Одесском ешиботе, что располагался на улице Базарной. Почему же восточный? Выбор этот для Блюмкина был исполнен глубокого смысла, сотканного из соображений высокой политики и личных тяготений. Блюмкин был левым эсером, а они всегда связывали ожидания мировой революции с «пятым сословием» — ограбленным и униженным крестьянством Китая и Индии. Да и большевики после провала похода на Варшаву (а мыслилось и на Берлин!) все чаще обращали свои взоры к загадочно молчащему Востоку. Ближний Восток им действительно казался ближним. Особенные надежды на его революционный потенциал возлагал Троцкий — человек, в которого, по словам И. Дойчера, Блюмкин безгранично верил[1]. К тому же Блюмкин не мог не мечтать о героико-романтической карьере разведчика; несомненно, участие в топорной работе чекистов, каким бы боком он не соприкасался с нею, было ему в тягость. Наконец, Блюмкин был одесситом, выходцем из города, в порту которого корабли из Леванта были скорее привычной, нежели экзотической частью пейзажа.

Трудно сказать, насколько успешно продвигалось учение. Вскоре оно осложнилось по независящим от Блюмкина обстоятельствам. Сотрудники немецкого посольства узнали о его пребывании в Москве, и это вызвало у них недоумение. Несмотря на то, что Блюмкин был официально амнистирован и что покойный Мирбах представлял давно канувшего в Лету кайзера, а новый посол — Веймарскую республику, замешательство должно было быть достаточно серьезным. Можно предположить даже, что имели место и какие-то неофициальные демарши.

Как бы то ни было, Троцкий в письме, адресованном Ленину, Чичерину, Крестинскому и Бухарину, предложил принять превентивные меры в отношении «дурацкого немецкого требования удовлетворения за графа Мирбаха». Если это требование будет выдвинуто официально, так что придется входить в подробности, писал он, «всплывут довольно неприятные воспоминания Александровича, Спиридоновой и проч. (Александрович за участие в событиях 6 июля был расстрелян — похоже, слишком поспешно; «Спиридонова и проч.» в это время находились в тюрьмах или ссылках. Понятно, что любые упоминания о них в прессе должны были казаться большевикам «неприятными» — авт.). Я думаю, что, поскольку вопрос уже всплыл в печати (зарубежной — авт.) необходимо, чтобы откликнулась наша печать и чтобы тов. Чичерин в интервью или другим порядком дал понять немецкому правительству... что, выдвинув это требование, они попадают в самое дурацкое положение. Газеты могли бы высмеять это требование в прозе и стихах, а по

[1] *См.: Дойчер И.* Троцкий в изгнании. М., 1991, с. 155.

радио отзвуки дошли до Берлина. Это гораздо выгоднее, чем официально объясняться на переговорах по существу вопроса»[1]. Советско-германские отношения в это время развивались по восходящей, и можно предположить, что после небольшого раздумья немцы не сочли нужным осложнять их в связи с эпизодом, который обе стороны желали предать скорейшему забвению.

14

Живописные воспоминания о Блюмкине оставил Б. Бажанов, бывший секретарь Сталина. К сожалению, они имеют один недостаток — им совершенно невозможно верить[2].

Помимо прочего, Бажанов сообщает, что не зная куда девать Блюмкина, ГПУ пробовало его приставить к Троцкому, который в 1925 году объезжал заводы с комиссией по обследованию качества продукции. «Блюмкин был всажен в эту комиссию. Как ни наивен был Троцкий, но функции Блюмкина... для него были совершенно ясны. В первый же раз, когда подкомиссия во главе с Блюмкиным обследовала какой-то завод и на заседании... под председательством Троцкого Блюмкин хотел делать доклад, Троцкий перебил его: «Товарищ Блюмкис был там оком партии по линии бдительности: не сомневаемся, что он свою работу выполнил. Заслушаем сообщения специалистов, бывших в подкомиссии». Блюмкин надулся как индюк: «Во-первых, не Блюмкис, а Блюмкин: вам бы следовало лучше знать историю партии, товарищ Троцкий; во-вторых...» «Троцкий стукнул кулаком по столу: «Я вам слова не давал!» Из комиссии Блюмкин вышел ярым врагом Троцкого»[3].

Историк, пожелавший опровергнуть свидетельство Бажанова, может встретить затруднение разве что от избытка доказательств. Бесспорно, Троцкий много ранее 1925 года имел повод усвоить разницу между Блюмкисом и Блюмкиным, поскольку последний, скорее всего, с 1922 года, входил в личный секретариат Троцкого. Во всяком случае, в предисловии к вышедшему в 1923 году первому тому его труда «Как вооружалась революция» читатель уведомлялся, что подбор, критическая проверка, группировка и правка материала осуществлялась не кем иным, как Блюмкиным. Притом Троцкий, как бы предвидя безудержный полет фантазии будущих мемуаристов, не преминул добавить: «...Судьбе угодно, чтобы тов. Блюмкин, бывший левый эсер, ставивший в июле 1918 года свою жизнь на карту в бою против нас, а ныне член нашей партии, оказался моим сотрудником по составлению этого тома, отражающего в одной части нашу смертельную схватку с партией левых эсеров».

Чем же объяснить этот и другие подобные «ляпы» в заметках Бажанова? Видимо тем, что он излишне доверился своему информатору — Аркадию Максимову (он же Биргер), который некогда заведовал хозяйством кавалерийского полка, но проворовался, продавая на сторону казенный овес, был изгнан из армии и исключен из партии. Можно представить, как в совместных странствиях по Персии и Афганистану незадачливый расхититель социалистического овса развлекал Бажанова байками о подноготной советских сановников, компенсируя буйным воображением недостаточную ловкость рук.

Но это еще не все. «В конце 1929 года назначенный в Турцию ре-

[1] *См.: Фельштинский Ю.* Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917— июль 1918. На пути к однопартийной диктатуре. Париж, 1985, с. 271.

[2] Любознательного читателя отсылаем к журналу «Политические исследования» (1991, № 1 и 2), где помещен подробный разбор этой книги.

[3] *Б. Бажанов.* Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990, с. 291—292.

зидентом ГПУ, Блюмкин приезжает еще в Париж, чтобы организовать на меня покушение,— пишет Бажанов.— Покушение не удалось. Блюмкин возвращается в Москву, чтобы доложить, тем не менее, об исполненном поручении. Затем, наконец, Блюмкин отправляется в Турцию»[1].

Здесь следовало бы сопоставить географию с хронологией. Что означает — «в конце 1929 года»? Надо полагать, арест в октябре и тем более расстрел 3 ноября явились весьма серьезным препятствием для последующего вояжа Блюмкина по маршруту Москва — Париж — Москва — Принцевы острова — Москва. Да и посмел бы Блюмкин доложить Сталину об убийстве Бажанова, которого на самом деле не было? Не думаем: такого рода информация легко проверялась соответствующими сообщениями в западной прессе — в чем-чем, но в простодушной наивности ГПУ упрека не заслуживает.

15

Если верить А. Велидову, научному редактору и комментатору второго издания «Красной книги ВЧК», Блюмкин поступил на службу в ОГПУ только в 1925 году (очевидно, это было связано с отставкой Троцкого с поста председателя Реввоенсовета). Затем он некоторое время представлял эту грозную организацию в Монголии. О деятельности его там ничего не известно, правда, недавно в печати промелькнуло сообщение, будто Блюмкин был там послом СССР[2]. Вряд ли это так: ведь резиденты ОГПУ занимали дипломатические посты не выше атташе или второго секретаря.

В «Уже написан Вертер» В. Катаев вывел Блюмкина под именем Наума Бесстрашного:

«Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденовский шлем с суконной звездой...

Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженых цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входящим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий стог этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием: «Отрезанные косы — это урожай реформы».

Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость.

Полон рот каши.

Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в «Стойле Пегаса» перед испуганными имажинистами.

А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе».

---

[1] *Бажанов Б.* Воспоминания бывшего секретаря Сталина, с. 291—292.
[2] *См.: Буров В.* Монголия: прощай социализм? / АиФ, 1991, № 18.

Конечно, изобретатель «мовизма», как и любой художник, имеет право на вымысел. Однако Г. Агабеков, коллега и преемник Блюмкина по Восточному сектору Иностранного отдела ОГПУ, замечает, что Блюмкин пользовался большим влиянием среди членов коллегии и стал «в своем роде знаменитостью» как раз благодаря успешной деятельности в Монголии. Не думаем, что она сводилась к обрезанию косичек.

В середине 1928 года Блюмкин командируется в Константинополь с «колоссальными», по словам Агабекова, полномочиями. Ему поручается организовать агентуру в Сирии, Палестине, Египте и выдается невиданный по тем временам аванс — 25 тысяч долларов.

Тогдашний Константинополь кишмя кишел агентами ОГПУ, контролирующими «белую» русскую диаспору. Но у Блюмкина иные задачи, они связаны с проблемами внешней политики: в связи с возможной войной с Англией Москву интересуют арабо-еврейские отношения и отношение палестинских евреев к англичанам. Блюмкин вербует агентов, те направляют донесения в Бейрут, оттуда информация пересылается к нему в Константинополь. Персидского подданного Султан-Заде интересует египетская партия Вафд, левое крыло которой сотрудничало с коммунистами. Он изучает фелахский вопрос, нубийский. У него обширные планы: в каждой стране Ближнего Востока посадить по резиденту, в Константинополе и Египте — старших резидентов, которые были бы его замами, за собой же он оставляет стратегию: идеи, проекты, контроль и т. п.

В июне 1929 года Блюмкин вернулся в Москву и был встречен с большим почетом. Ему предоставлен автомобиль, он ведет беседы с сотрудниками рангом не ниже начальника отдела. Менжинский, тяжело больной, умирающий, желает выслушать его и приглашает на обед. Блюмкин делает доклад о Ближнем Востоке некоторым членам ЦК, в том числе Вячеславу Молотову. Его план поддержан. Как замечает Агабеков: «Блюмкину тогда вообще ни в чем не отказывали и возлагали на него громадные надежды».

Между тем приближалась очередная партийная чистка. Сотрудников охватила паника. Люди, прошедшие гражданскую войну, трепетали. На чистке ИНО выяснилось, что в нем нет ни одного сотрудника с пролетарским происхождением. Выяснилось, что Логинов, помощник Трилиссера, член партии с 1905 года, жил в Архангельске при белых и даже редактировал там газету. Почему его не тронули, он объяснить не мог. Красная, по ее словам, едва ли не с десятилетнего возраста состояла членом польского ЦК, одновременно поддерживала связь и с Пилсудским. Отвечая на вопросы, она спуталась, заплакала. Горская, как выяснилось, была дочерью польского помещика. (Впрочем, все, кроме двух сотрудников, занимающих технические должности, были оставлены при своих должностях как «испытанные чекисты».)

Что же касается Блюмкина, то вряд ли его любили рядовые сотрудники. Все признавали его ум и энергию, но поговаривали об исключении его из партии как «чуждого рабочей психологии». Наконец, собрание, которого Блюмкин пытался избежать, состоялось. В клубе ОГПУ — все сотрудники ИНО и многих других отделов. В президиуме Сольц, Караваев и Филлер, к ним подсаживается Трилиссер. Вызывают Блюмкина. Смущенно, запинаясь, он пересказывает свою биографию. В зале шумок, стихающий как только слово берет Трилиссер. Постановление: считать Блюмкина «проверенным» — принимается единодушно[1].

---

[1] См.: *Агабеков Г.* ГПУ (Записки чекиста). Изд-во «Стрела», Берлин, 1930, с. 210—243.

«Человеку важно умереть своей смертью,— утверждает Виктор Франкл.— Своей — значит, осмысленной, хотя и по-разному. Ведь смысл смерти, точно так же, как и смысл жизни, у каждого свой, глубоко личный»[1]. Умер ли Блюмкин своей смертью? И в чем заключался ее смысл?

История Блюмкина — это история вырождения террора: от акта, исполненного трагического значения, к инструменту мести и низменной политической интриги. Смерть его (а через несколько лет и других близких к внутрипартийной оппозиции революционеров) знаменовала собой новый поворот в сталинской политике, когда — пусть еще и не вполне — выяснилось, что в борьбе с противниками «генерального курса» все средства хороши.

Троцкий узнал о расстреле Блюмкина из краткого сообщения парижских «Последних новостей» от 29 декабря 1929 года.

«Блюмкин расстрелян».

Кельн, 29 декабря.

Московский корреспондент «Кельнише Цайтунг» телеграфирует: «На днях по ордеру ГПУ арестован небезызвестный Блюмкин, убийца Мирбаха.

Блюмкин изобличен в поддерживании тайных отношений с Троцким. По приговору коллегии ГПУ Блюмкин был расстрелян».

Троцкий был потрясен: ведь это уже третий его помощник — после Глазмана и Бутова — ставший жертвой самой выдающейся посредственности в партии. Насчет «коллегиального решения ГПУ» Троцкий не заблуждался, ему было ясно, что «кровавая расправа над Блюмкиным явилась личным делом Сталина». Ему живо вспомнились беседы с Блюмкиным в Константинополе. Блюмкин хотел понять, правильно ли он поступает, оставаясь на службе правительства, которое «высылает, ссылает и заключает в тюрьмы его ближайших единомышленников». Троцкий ответил, что он выполняет свой революционный долг — не по отношению к сталинскому правительству, узурпировавшему права партии, а по отношению к революции. Троцкий был уверен, что «в минуту опасности оппозиционеры будут на передовых позициях; что в трудные часы Сталину придется призывать их, как Церетели призывал большевиков против Корнилова», и с горечью заметил: «Как бы только не оказалось слишком поздно».

Троцкий задавался вопросом, как Блюмкин мог удержаться на ответственной работе, оставаясь в оппозиции, и отвечал на него так: «Объясняется это характером его работы: она имела совершенно индивидуальный характер. Блюмкину не приходилось или почти не приходилось иметь дело с партийными ячейками, участвовать в обсуждении партийных вопросов и пр. Это не значит, что он скрывал свои взгляды. Наоборот, и Менжинскому, и Трилиссеру, бывшему начальнику иностранного отдела ГПУ, Блюмкин говорил, что симпатии его на стороне оппозиции, но что, разумеется, он готов, как и всякий оппозиционер, выполнять свою ответственную работу на службе Октябрьской революции. Менжинский и Трилиссер считали Блюмкина незаменимым, и это не было ошибкой. Они оставили его на работе, которую он выполнил до конца»[2].

О незаменимости Блюмкина Троцкий судит, конечно же, со слов последнего, по-видимому, даже в свои 30 лет Блюмкин не избавился

[1] *Франкл В.* Человек в поисках смысла. М., 1990, с. 152.
[2] *Троцкий Л.* Портреты революционеров. М., 1991, с. 251—252.

от юношеского тщеславия, которое доставило ему столько неприятных минут еще в 1918-м. Между прочим, в своем «Бюллетене оппозиции» Троцкий высказал предположение, что Сталин «попытается пустить в ход какой-нибудь отравленный варьянт в духе связи с «врангельским офицером, подготовки восстания или террористических актов»[1]. И оказался прав: в официальной историографии утвердилась версия, будто Блюмкин в конце 1929 года тайно пробрался в СССР, но был арестован, судим и расстрелян за антисоветскую деятельность и нелегальный провоз оружия[2].

В этом же номере «Бюллетеня» опубликовано письмо «К», анонима из Москвы. Со ссылкой на Радека, сообщается в письме, по столице гуляет слух, будто Блюмкин, вернувшись из Константинополя, первым делом разыскал Радека, поскольку привык видеть в нем одного из руководителей оппозиции. Однако Радек к тому времени решил капитулировать перед Сталиным, «чего Блюмкин, по свойственной ему склонности к нравственной идеализации людей, не учел». Радек потребовал, чтобы он немедленно отправился в ГПУ и во всем признался. Не исключено, полагает анонимный автор, что Радек пригрозил Блюмкину в случае отказа доносом. По официальной версии Блюмкин «покаялся», и, явившись в ГПУ, предъявил взрывоопасное послание Троцкого. Мало того,— заключает «К»,— он сам будто бы требовал, чтобы его расстреляли... После этого Сталин решил «уважить» его просьбу...».

Автор письма решительно отвергает вариант с «покаянием». Во-первых, в этом случае были бы арестованы выданные Блюмкиным люди, которым было адресовано послание Троцкого,— между тем никто из них не пострадал. Во-вторых, покаявшемуся Блюмкину была бы, несомненно, сохранена жизнь, ибо у ГПУ был бы редкий шанс заполучить своего человека в тайное тайных оппозиции, человека, пользующегося неограниченным доверием Троцкого. То, что Блюмкин был расстрелян, доказывает, что он ни на какие сделки с совестью не пошел,— заключает «К»[3].

Рассказ «К», если не дополнял, то в значительной мере романтизировал Александр Орлов — видный чекист, бежавший на Запад. По его словам, Блюмкин еще перед выездом в Турцию сообщил Радеку о своем намерении увидеться с Троцким. Радек тотчас доложил об этом Сталину. За Блюмкиным была установлена слежка, однако Ягода опасался, что такой опытный разведчик, как Блюмкин, легко ускользнет от его агентов. Поэтому ответственная миссия соглядатая при Блюмкине была доверена некой Лизе Г. (Горской — авт.), сотруднице ГПУ, которой Блюмкин в свое время оказывал усиленные знаки внимания. Ей было рекомендовано, отбросив всяческие «буржуазные предрассудки», вступить в близость с поднадзорным, при случае демонстрируя свое разочарование официальной партийной политикой и интерес к взглядам оппозиции. Лиза Г. добросовестно исполнила свой долг, но не могла добиться главного: «расколоть» Блюмкина насчет его планов свидания с Троцким. Более того, сыщики Ягоды фиксировали все интимные встречи Лизы и Блюмкина, но не могли отметить ни одной его встречи с каким-либо вожаком оппозиции: возможно, добавим от себя, их просто

[1] Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). Париж, февраль-март, 1930, № 9, с. 8.
[2] *См.: Спирин Л.* Крах одной авантюры. М., 1971, с. 85.
[3] *См.:* За что Сталин расстрелял Блюмкина / Бюллетень оппозиции, № 9, с. 8—10.

не было. «Роман» продолжался три недели, и, поскольку он ничего не дал, было решено дать «добро» на выезд Блюмкина в Турцию, но арестовать его по дороге на вокзал [1].

Похоже, к Орлову нельзя относиться как к серьезному источнику: уже тот факт, что он не знает о свидании Блюмкина с Троцким, показывает, что его рассказ основан на случайной информации, только часть которой имеет какое-то отношение к действительности. В первую очередь, это сведения о позиции Радека. А. М. Ларина (Бухарина), будучи невольной свидетельницей разговора между Бухариным и Радеком в то время, когда последний находился еще на свободе, но уже под следствием, вспоминает, как он просил при случае напомнить Сталину, что он, не вскрывая, отправил в ГПУ единственное письмо, полученное от Троцкого через Блюмкина [2]. Об этом же говорит и секретарь Луначарского И. А. Сац [3].

Георгий Агабеков, руководитель Восточного отдела ГПУ (позднее, как и Орлов, бежавший на Запад) узнал об аресте Блюмкина 15 октября 1929 года. Этот день, уверяет он, запомнился ему на всю жизнь. Утром в своем рабочем кабинете он неожиданно встретил Минского, бывшего резидента ГПУ в Константинополе. Минский пригласил его позавтракать, дав понять, что имеющееся у него сообщение носит суперконфиденциальный характер, и, когда они вышли в коридор, шепнул: «Блюмкин арестован». Агабеков был ошеломлен: «Этот признанный любимец Дзержинского, у которого столько друзей на высочайших постах!»

Вечером Агабеков, желавший узнать подробности, направился к казначею Иностранного отдела Ключареву, который непосредственно проводил операцию по захвату Блюмкина. «Это была еще та работа, скажу я тебе,— заметил Ключарев после долгого размышления.— Мы подъехали к дому, где жил Блюмкин, в час ночи. Его не было». Когда через некоторое время появилась машина Блюмкина, и чекисты обнаружили намерение блокировать ее, Блюмкин пытался уйти, видно, сработал инстинкт разведчика. Началась сумасшедшая гонка по ночной Москве, и только у Петровского парка машины поравнялись. Блюмкин понял, что игра проиграна. Пересев в машину Ключарева, он вздохнул: «Как я устал!» и попросил доставить его к Трилиссеру. Уже по дороге, обернувшись к сопровождавшей его Лизе Горской, он сказал: «Я знаю, Лиза, это ты меня выдала» [4].

Конечно, зарубежная (особенно эмигрантская) печать была полна самых различных слухов по поводу смерти Блюмкина. По версии, близкой к эсеровским кругам парижской «Борьбы», Блюмкин вернулся в Москву в начале августа 1929 года. Жил он на квартире Луначарского (Блюмкин и Луначарский? — еще одна загадка), где его попыталось арестовать ГПУ. Блюмкин, почуя засаду, хотел скрыться, но был схвачен. В тюрьме он был спокоен и даже весел, передавал дела Агабекову. Когда вопрос рассматривался на коллегии ГПУ, Ягода и Менжинский были за расстрел. Трилиссер — против. Поскольку мнения разошлись, дело было передано в Политбюро. Однако Сталин снял его с обсуждения, заявив: «ГПУ имеет право расстреливать своих сотрудников, не спрашивая Политбюро». Таким образом, вопрос был исчерпан [1].

[1] *См.: Орлов А.* Тайная история сталинских преступлений. Огонек, 1989, № 49, с. 22—23. (Слишком уж сложная версия, заметим от себя, для того, чтобы быть достоверной — *авт.*)

[2] *См.: Ларина (Бухарина) А.* Незабываемое. М., 1989, с. 311.

[3] *См.: Волкогонов Д.* Триумф и трагедия. М., 1989, кн. I, ч. 2, с. 175.

[4] *См.: Агабеков Г.* ГПУ (Записки чекиста), с. 225.

«Живой (кличка Блюмкина) помер»,— это сообщение, окрашенное черным юмором висельника, распространялось по беспроволочному чекистскому телеграфу, нагоняя ужас на одних, вызывая злорадство у других, порождая надежды (в связи с открывшейся вакансией) у третьих.

Почему Сталин расстрелял Блюмкина? Из-за кажущейся очевидности ответа этим вопросом до сих пор никто не задавался. Ясно ведь, что по той же причине, по которой были расстреляны и миллионы других людей. Стоит напомнить, однако, что 1929 год — это не 37-й. Произошло смешение перспективы, и в общем-то неординарное для тех лет событие — ликвидация видного революционера без суда и следствия — слилось с позднейшими массовыми репрессиями и стало в глазах нашего современника буднично-заурядным фактом. Действительно встречался с Троцким, привез от него письмо Радеку — людей убивали и за меньшие прегрешения. Все это, согласимся, так, но не в 1929 году, когда оппозиционеров, по общему правилу, снимали с работы, ссылали и т. п., однако, еще не расстреливали. Попытаемся понять случившееся таким, каким оно было.

На наш взгляд, объяснение должно состоять из трех частей. Во-первых, Блюмкин — чекист, член корпорации, которая превратилась в «орден меченосцев» гораздо раньше партии — возможно, с самого момента своего возникновения. Весьма характерное обстоятельство: по делу о мятеже левых эсеров было расстреляно — по постановлению ВЧК! — 13 человек, все они — «мятежники из отряда Попова» (то есть чекисты). Да и сам Попов — единственный из 14 обвиняемых в мятеже — был приговорен к смертной казни, хотя вина его вряд ли превосходила вину организаторов покушения. Вспомним также, с какой неумолимой жестокостью преследовались чекисты, бежавшие на Запад. По-видимому, срабатывал принцип, согласно которому измена, обнаруженная в собственных рядах, искоренялась с особенной беспощадностью.

Во-вторых, маниакально подозрительный Сталин имел основания опасаться Блюмкина сверх, если можно так выразиться, обычного. Не Блюмкина-оппозиционера, имеющего тесные связи с Троцким, но Блюмкина — бывшего левоэсеровского террориста. Он убил Мирбаха, почему бы ему не убить Сталина? Да, Блюмкин вроде бы играл в новую, большевистскую игру, но не исключено, что по старым, эсеровским правилам. Покушение на Сталина, учитывая плотность его охраны, означало самоубийство для всякого, кто отважился бы на такое дело. Но боевика эсеровской закваски соображения личного риска остановить не могли. Итак, Блюмкин был непредсказуем — и тем смертельно опасен. Этот мотив личного страха проницательно угадал И. Дойчер (наряду с этим обнаруживший удивительную для исследователя его масштаба неосведомленность) [2].

В-третьих, и, наверное, в-главных,— об этом сказал Троцкий,— Сталин жизнью Блюмкина посылал грозный сигнал некогда «вооруженно-

[1] *См.:* «Борьба», Париж, 1930, № 6.

[2] *См.: Дойчер И.* Троцкий в изгнании, с. 158. Так, по его мнению, Блюмкин по делу о мятеже левых эсеров был приговорен к расстрелу, и лишь благодаря вмешательству Троцкого смертная казнь была заменена «искуплением в боях по защите революции». На самом деле Блюмкин был приговорен к трем годам тюремного заключения, и ни о каком «искуплении в боях» не могло быть и речи, тем более, что ко времени суда обвиняемый так и не был разыскан. Версию Дойчера, доверившись его авторитету, воспроизвел и Д. Волкогонов. (*См.: Волкогонов Д.* Триумф и трагедия. Кн. I, ч. 2, с. 175.).

му», а ныне изгнанному «пророку» и его товарищам: за ваши успехи будут расплачиваться своими головами сотни и тысячи заложников из числа оппозиционеров. Другими словами, говорит Троцкий, «после исключения из партии, лишения работы, обречения семей на голод, заключения в тюрьму, высылок и ссылок Сталин пытается запугать оппозицию последним остающимся в его руках средством: расстрелами»[1].

А. Орлов передает, что на допросах Блюмкин держался «с поразительным достоинством и смело пошел на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: «Да здравствует Троцкий!»[2]. По заслуживающему бо́льшего доверия свидетельству Я. Агранова (следователя по делу Блюмкина, более известного в связи с делом Гумилева), Блюмкин запел «Интернационал». «Вставай, проклятьем заклейменный...» — только и успел прокричать наш романтик,— эпически заключает Мариенгоф[3].

В революцию шли разные люди — идеалисты и прагматики, циники и фанатики, плебеи духа и возвышенные мыслители, но «романтик», пожалуй, самая подходящая характеристика для нашего героя. И какая емкая! Она объемлет собою все: браваду и страх, иронию и отвагу, пошлую лирику и высокую трагедию. Даже если бы Блюмкин сделал только две вещи — совершил покушение на Мирбаха и мужественно подставил свою грудь под лубянские пули — сегодня многим его жизнь должна казаться необыкновенной. К счастью для него, он погиб раньше, чем народились деятели, которые, если судить по их некрологам, неизменно торжествовали победу «на всех постах, которые им доверили партия и правительство». Вряд ли он, всегда стремившийся быть или на худой конец казаться выходящим из ряда вон (непростительное стремление в эпоху, когда партия усердно принялась равнять свои ряды по Первому), был бы рад пополнить собою этот уныло-непогрешимый мартиролог.

Мальчик из провинции, он свято верил в Революцию, но она его расстреляла. Часто он идеализировал людей, но почти все они над ним посмеивались или предавали. Его Мечта оказалась Химерой. Блюмкин был обречен на свою смерть в том значении, какое придает этому слову Франкл: романтики, как известно, редко доживают до пенсии.

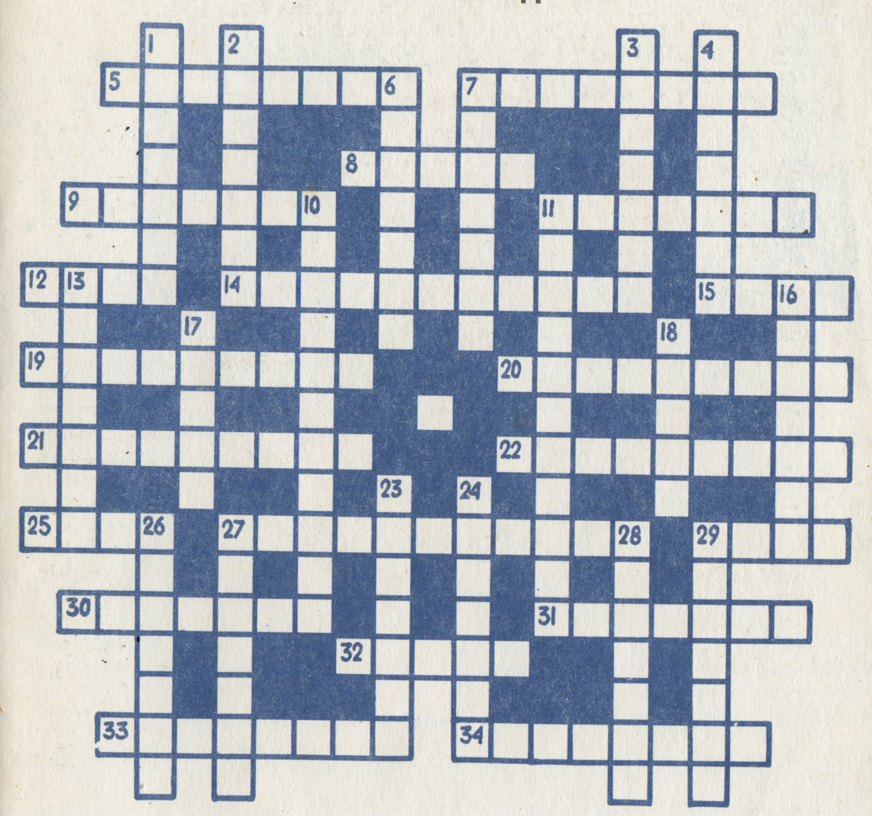
Мандельштаму он казался страшным, но далеко не примитивным человеком. Выхватывая револьвер, беснуясь и крича, как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он был по природе террористом неудержимо-буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции. Вера Фигнер ставила Блюмкина в ряд с такими людьми, как Керенский и Савинков: все трое индивидуалисты до мозга костей и политические карьеристы. Близко наблюдавший Блюмкина Агабеков считает его «авантюристом по натуре».

Осенью 1923 года Дзержинский печально обмолвился, что только «святые или негодяи могут служить в ГПУ, но святые теперь уходят от меня и я остаюсь с негодяями»[4].

Блюмкин, бесспорно, не был святым. Был ли он негодяем? Он был человеком своего смутного и страшного времени и менее всего «рыцарем без страха и упрека». Впрочем, мы подозреваем, что таковых вовсе не существует.

[1] *Троцкий Л.* Портреты революционеров, с. 254.
[2] *Орлов А.* Тайная история сталинских преступлений, с. 23.
[3] *См.:* Мой век, мои друзья и подруги, с. 140.
[4] *См.: Конквест Р.* Большой террор. В 2-х томах, Рига, т. 2, с. 385.

КРОССВОРД



По горизонтали: 5. Танцовщица. 7. Советский композитор, автор песни «Русское поле». 8. Металл, обладающий высокой прочностью и упругостью. 9. Река в США. 11. Летопись. 12. Персонаж древнегреческой мифологии. 14. Специальное помещение, служащее для испытания психической устойчивости космонавтов. 15. Повозка. 19. Ускоритель протонов. 20. Установление автора художественного произведения или времени и места его создания. 21. Крупная африканская птица. 22. Наибольшее отклонение от нулевого значения величины, колеблющейся по определенному закону. 25. Часть водоема, расположенная выше плотины, шлюза. 27. Маленькая симфония. 29. Картина И. И. Шишкина. 30. Африканская разновидность ксилофона. 31. Характеристика светящихся тел. 32. Подземная горная выработка. 33. Прибор для измерения атмосферного давления. 34. Три литературных произведения одного автора, связанные единством общего замысла.

По вертикали: 1. Приспособление для вычисления площадей на планах, картах, отсчета координат. 2. Разметочный инструмент. 3. Бесспорная, не требующая доказательств истина. 4. Благородный металл. 6. Азербайджанский писатель-демократ, просветитель XIX в. 7. Командующий соединением военных кораблей. 10. Карта, показывающая интенсивность какого-либо явления в пределах каждой нанесенной на нее территориальной единицы. 11. Учебное пособие, представляющее собой сборник избранных произведений писателей или ученых. 13. Рассказ А. П. Чехова. 16. Укрытие, оборонительное сооружение. 17. Порывистый холодный ветер. 18. Очертание предмета. 23. Устройство для контроля качества телевизионного изображения. 24. Местное наречие, являющееся разновидностью общенародного языка. 26. Один из способов украшения вокальных и инструментальных мелодий. 27. Русский советский писатель. 28. Продажа товаров с публичных торгов. 29. Мясное кушанье.